

Х Е Л Е Н
У Э К Е Р

ГОЛЕМ И ДЖИНН

Магия этой книги оставляет
удивительно долгое, поистине
волшебное послевкусие.

Entertainment Weekly



Хелен Уэкер
Голем и джинн

«Азбука-Аттикус»

2013

Уэкер Х.

Голем и джинн / Х. Уэкер — «Азбука-Аттикус», 2013

ISBN 978-5-389-08928-0

В 1899 году в Нью-Йорке оказываются два мифических существа. Голема слепили из глины; голем должна была стать верной женой сыну мебельного фабриканта, отправляющемуся в Новый Свет. Но посреди Атлантики ее хозяин умирает, и голем прибывает в Нью-Йорк одна. Она совсем не знает людей, боится толп, но безошибочно ощущает человеческие желания. Джинн тысячу лет просидел в медной лампе, пока не был случайно освобожден жестянщиком из района Нью-Йорка, известного как Маленькая Сирия. Столетия пролетели для джинна как один миг; более того, он не помнит, как оказался в лампе и кто его туда заточил. Однажды на ночной прогулке посреди опустевшего города голем и джинн встретятся. Впервые на русском.

ISBN 978-5-389-08928-0

© Уэкер Х., 2013
© Азбука-Аттикус, 2013

Содержание

1	6
2	17
3	27
4	36
5	46
6	58
7	67
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Хелен Уэкер

Голем и джинн

Посвящается Кариму

Helene Wecker

THE GOLEM AND THE JINNI

Copyright © Helene Wecker, 2013

This edition published by arrangement with France Goldin Literary Agency,
Inc. and the Synopsis Literary Agency

© И. Пандер, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

1

Жизнь Голема началась в пароходном трюме. Стоял 1899 год, пароход назывался «Балтика» и шел из Данцига в Нью-Йорк. Хозяин Голема, по имени Отто Ротфельд, тайком доставил его на борт в деревянном ящике и спрятал среди багажа.

Ротфельд был прусским евреем родом из Конины, небольшого, но активно растущего городка к югу от Данцига. Единственный сын преуспевающего мебельного фабриканта, он рано унаследовал семейное дело, когда оба его родителя скорострительно скончались от скарлатины, однако пользы ему это не принесло. Ротфельд оказался человеком заносчивым, но совершенно лишенным деловой хватки и не особенно практичным. Не прошло и пяти лет со дня со смерти родителей, как бизнес пришел в полный упадок.

Озирая руины некогда успешного предприятия, он подвел первые неутешительные итоги. Ему только что исполнилось тридцать три года. Он хотел жениться и хотел уехать в Америку.

Решить первую проблему оказалось труднее, чем вторую. Помимо заносчивости, Ротфельд обладал и другими малопривлекательными чертами: он был тощим, долговязым и смотрел исподлобья и злобно. Женщины не стремились остаться с ним наедине. Несколько свях захаживали к нему вскоре после смерти родителей, но предлагаемые невесты были недостаточно родовиты, и он их отверг. А когда стало очевидным, что бизнесмен из молодого Ротфельда получился никудышный, предложения прекратились сами собой.

Гордость гордостью, но иногда Ротфельду становилось одиноко. У него не случилось ни одной настоящей любовной связи. В глазах достойных женщин, встреченных на улице, он читал только отвращение.

А потому вскоре Ротфельд решил посетить старого Иегуду Шальмана.

Про этого Шальмана в городке ходило множество разнообразных, но в чем-то схожих слухов: говорили, что он был раввином, но запятнал себя чем-то и за это был изгнан из своей общины; что он одержим дьяволом-диббуком и наделен сверхчеловеческой силой и даже что от роду ему сто лет и он спит с демоном, принявшим женское обличье. Все сходились на том, что в самых темных закоулках каббалы он чувствует себя как дома и не прочь поделиться своими знаниями за хорошую плату. Бесплодные жены крадучись посещали его среди ночи и вскоре после этого объявляли о своей беременности. Крестьянские девушки, мечтающие о замужестве, покупали у Шальмана мешочки с порошками и тайком подсыпали их в пиво своим возлюбленным.

Но заговоры и приворотные зелья не интересовали Ротфельда. Он задумал другое.

Едва заметная тропинка привела его к дверям ветхой хижины среди густого леса, обступившего Конин. Только струйка неопрятного, желтоватого дыма, поднимающаяся из трубы, говорила о том, что это убогое жилище обитаемо. Стены его угрожающе кренились в сторону оврага, по дну которого струился жидкий ручей.

Ротфельд постучал в дверь и прислушался. Только через несколько минут за нею послышались шаркающие шаги. Дверь чуть приоткрылась, и он увидел старика лет семидесяти. Тот был совсем плешив, не считая короткой бахромки седых волос вокруг лысины. Спутанная борода, глубоко запавшие морщинистые щеки. Тяжелый, испытующий взгляд.

– Ты Шальман? – спросил Ротфельд.

Никакого ответа, только непроницаемый взгляд.

Ротфельд нервно откашлялся.

– Я хочу, чтобы ты сделал для меня голема, точно такого, как человек, – выговорил он. – Вернее, как женщина.

Тут старик прервал молчание и издал смех, больше похожий на лай.

– А ты, паренек, хоть знаешь, что такое голем? – спросил он.

– Человек, созданный из глины? – неуверенно отозвался Ротфельд.

– Неверно. Скорее, выучное животное. Раб, неуклюжий и нерассуждающий. Голема создают для тяжелой работы или защиты, а уж никак не для радостей плоти.

– Значит, ты мне отказываешь? – покраснел Ротфельд.

– Значит, я объясняю тебе, что это дурацкая затея. Создать голема, похожего на человека, почти невозможно. В него ведь придется вложить хоть малую толику сознания, достаточную, чтобы связать пару слов. Не говоря уже о теле, гибких суставах, мускулах...

Старик вдруг замолчал, глядя мимо своего собеседника. Казалось, он обдумывает какую-то неожиданную мысль. Потом он развернулся и скрылся в темной глубине хижины. Через приоткрытую дверь Ротфельд видел, как Шальман осторожно роется в высокой стопке бумаг. Он извлек из нее книгу в кожаном переплете, открыл, внимательно прочитал что-то, ведя пальцем по странице, и только потом поднял глаза на Ротфельда.

– Приходи завтра, – сказал он.

На следующий день Ротфельд снова постучал в дверь Шальмана, и на этот раз она пахнулась сразу же.

– Сколько ты сможешь мне заплатить? – спросил старик.

– Значит, ты выполнишь мою просьбу?

– Скажи, сколько заплатишь, и тогда я дам ответ.

Ротфельд назвал сумму. Старик нахмурился:

– Прибавь еще полстолька, и тогда поговорим.

– Но это все, что у меня есть! – возмутился Ротфельд.

– Ну и считай, что тебе повезло. Сказано ведь, что добродетельная женщина дороже драгоценных рубинов, а ее добродетель я могу тебе гарантировать! – усмехнулся Шальман.

Ротфельд вернулся через три дня и принес с собой большой несессер, набитый деньгами. На кромке оврага он заметил свежую отметину: кусок глины длиной с человеческое тело был словно срезан, а у стены хижины стояла грязная лопата.

Шальман, открывший ему дверь, казался рассеянным, будто его оторвали от какого-то важного занятия. Его одежда и даже борода были измазаны землей. Увидев несессер, он почти вырвал тот из рук гостя:

– Хорошо. Заходи через неделю.

Дверь захлопнулась перед носом Ротфельда, но тот все-таки успел разглядеть темную фигуру, вытянувшуюся на столе: длинное тело, едва намеченные ноги, согнутая в локте рука.

* * *

– Каких женщин ты предпочитаешь? – спросил Шальман, когда через неделю Ротфельд снова пришел к нему.

На этот раз его пригласили в дом. Всю середину комнаты занимал большой стол, и молодой человек то и дело украдкой бросал взгляды на лежащую на нем человеческую фигуру, прикрытую простыней.

– В каком смысле предпочитаю?

– Ну, я ведь делаю женщину для тебя. У тебя должны быть какие-то пожелания.

Ротфельд нахмурился:

– Ну, наверное, хорошая фигура...

– Нет-нет, я пока не говорю о наружности. Я имею в виду темперамент. Характер.

– Ты и *это* можешь?

– Да, кажется, могу, – с гордостью кивнул старик. – По крайней мере, могу подтолкнуть ее в нужном направлении.

Ротфельд надолго задумался.

– Я хочу, чтобы она была покорной.

– Покорной она будет в любом случае, – нетерпеливо перебил его Шальман. – Для того и существуют големы – чтобы полностью покоряться воле хозяина. Она сделает все, что ты прикажешь. Ей даже в голову не придет, что можно ослушаться.

– Хорошо, – кивнул Ротфельд.

Он растерялся. Не считая приятной наружности и покорности, у него, кажется, не было никаких пожеланий. Он уже готов был сказать Шальману, чтобы тот делал то, что сам считает нужным, но неожиданно для себя вспомнил младшую сестру – единственную девочку в его жизни, которую он близко знал. Ее переполняло любопытство, и она постоянно надоедала их матери, вечно путалась под ногами и задавала бесконечные вопросы. И юный Отто, проявив необычную для него душевную щедрость, почему-то решил взять ее под свое крыло. Целыми днями они вдвоем бродили по лесу, и он отвечал на бесконечные вопросы девочки. Когда в двенадцать лет жарким летним полднем она утонула, купаясь в реке, он потерял единственного на свете человека, что-то значившего для него.

– Сделай ее любопытной, – попросил он Шальмана. – И умной. Терпеть не могу глупых женщин. И еще, – добавил он, озаренный неожиданным вдохновением, – пусть она будет приличной. Не... не распущенной. Настоящей женой благородного господина.

Брови старика удивленно поползли кверху. Он ожидал, что клиент закажет материнскую нежность или здоровый сексуальный аппетит. За долгие годы составлений любовных зелий для мужчин, подобных Ротфельду, он успел изучить их вкусы. Но любопытство? Ум? Да знает ли этот человек, о чем просит?

Но в ответ он только улыбнулся и развел руками:

– Я постараюсь. Результат может быть не совсем таким, как ты хочешь. Глина есть глина. И запомни вот что. – Шальман слегка нахмурился. – Она все-таки навсегда останется големом, изменить этого я не смогу. В ней будет сила дюжины мужчин. Она станет защищать тебя, не раздумывая, и ради этого легко сможет причинить вред другим. Еще никогда на свете не был создан голем, который не начинал бы в конце концов крушить все вокруг. Ты должен быть готов, что когда-нибудь тебе придется ее уничтожить.

* * *

Работа была закончена за день до отъезда Ротфельда в Данцигский порт. В последний раз он отправился к Шальману на телеге, захватив с собой большой деревянный ящик, скромное коричневое платье и пару женских туфель.

Старик, судя по виду, не спал уже несколько ночей. Его глаза напоминали черные ямы, и он был бледен, словно кто-то высосал из него всю силу. Когда он зажег висящую над столом лампу, Ротфельд впервые увидел свою суженую.

Она оказалась высокой, почти того же роста, что он сам, и ладно сложенной: продолговатое туловище, маленькие и крепкие груди, округлая талия. Бедрa, возможно, немного широковаты, но ей это шло. От темного треугольника внизу живота Ротфельд поспешно отвел взгляд, испугавшись собственного смятения и насмешки в глазах старика.

Скуластое лицо имело форму сердечка, закрытые глаза были широко расставлены. Небольшой аккуратный нос с легкой горбинкой над полными губами. Темные волнистые волосы до плеч.

Осторожно, словно не веря себе, Ротфельд положил руку на прохладное плечо.

– По виду совсем как кожа, – сказал он. – И на ощупь тоже.

– Это глина.

– Как же ты такое сделал?

Шальман улыбнулся и промолчал.

– А волосы, глаза? Ногти? Они тоже из глины?

– Нет, они вполне настоящие, – любезно заверил его старик.

Ротфельд вспомнил несессер, набитый купюрами, представил себе, на какие покупки пошла часть этих денег, поежился и решил больше не думать об этом.

Вдвоем они одели глиняную женщину и осторожно погрузили ее в ящик. Прядь волос упала при этом ей на лицо, и Ротфельд, дождавшись, чтобы старик отвернулся, бережно поправил ее прическу.

Шальман отыскал на столе листок бумаги и записал на нем две команды: одну – чтобы оживить голема и вторую – чтобы уничтожить его. Дважды сложив листок, он поместил его в клеенчатый конверт, подписал его «КОМАНДЫ ДЛЯ ГОЛЕМА» и вручил Ротфельду. Тот был склонен оживить женщину прямо сейчас, но старик возражал:

– Ей потребуется время, чтобы прийти в себя, а на пароходе будет чересчур многолюдно и тесно. Если кто-нибудь догадается, кто она, вас обоих вышвырнут за борт.

Неохотно Ротфельд согласился дождаться прибытия в Америку, и, закрыв ящик, они приколотили крышку гвоздями.

Шальман плеснул в два стакана шнапса из пыльной бутылки.

– За твоего голема, – произнес он и выпил.

– За моего голема, – откликнулся Ротфельд и выпил тоже.

Этот счастливый миг омрачала только постоянная ноющая боль у него в животе. Пищеварение молодого человека всегда доставляло ему неприятности, а нервное напряжение последних дней окончательно расстроило его желудок. Стараясь не обращать на боль внимания, он помог Шальману погрузить ящик на телегу, и лошадь тронулась с места. Стоя на пороге, старик махал им вслед, словно паре новобрачных.

– Желаю тебе в полной мере насладиться ею! – крикнул он, и его лающий смех еще долго слышался среди деревьев.

* * *

Судно вышло из Данцига и потом сделало остановку в Гамбурге без всяких происшествий. Прошло два дня. Ночью Ротфельд лежал на своей узкой койке, сжимая в кармане клеенчатый конверт «КОМАНДЫ ДЛЯ ГОЛЕМА», и чувствовал себя как ребенок, которому вручили подарок, но не велили открывать его. Он бы легче перенес ожидание, если бы мог уснуть, но все усиливающаяся боль в правом боку превратилась в наваждение и гнала сон прочь. Его постоянно знобило, а кроме того, со всех сторон окружал непривычный шум дешевой пассажирской палубы: разноголосый храп, всхлипывания детей и иногда звуки чьей-то рвоты из-за непрерывной качки.

Он перевернулся на другой бок, поморщился от нового приступа боли и подумал, что старик наверняка переборщил с осторожностью. Если она будет такой послушной, как он обещал, значит он вполне может разбудить ее прямо сейчас, просто чтобы посмотреть. А потом прикажет ей спокойно лежать в ящике до самой Америки.

А что, если ничего не выйдет? Если она совсем не проснется, а так и останется холодным куском глины в форме женщины? Ему вдруг впервые пришло в голову, что у него нет никаких доказательств слов Шальмана. В панике он вытащил из кармана конверт и развернул листок. Какая-то абракадабра на иврите! Ну и дурака же он сваял, олух доверчивый!

Ротфельд спустил ноги с койки, снял с гвоздя керосиновую лампу и, придерживая ноющий бок рукой, поспешил по трапу вниз, в грузовой трюм.

Почти два часа ушло на то, чтобы отыскать ящик среди сундуков и чемоданов, обмотанных бечевками. Желудок горел, как в огне, а глаза заливал холодный пот. Наконец под скатанным в рулон ковром он нашел ящик со своей невестой.

С помощью ломика Ротфельд выдернул гвозди и откинул крышку. Сердце гулко колотилось в груди. Он развернул листок и тщательно произнес слова под заголовком «Чтобы оживить голема». Потом затаил дыхание и стал ждать.

* * *

Медленно Голема наполняла жизнь.

Сначала пробудились чувства. Кончики пальцев различили шершавую поверхность дерева, а кожа женщины ощутила на себе прикосновение холодного влажного воздуха. Она почувствовала движение судна. Ноздри уловили запах плесени и моря.

Она все больше просыпалась и скоро уже знала, что у нее есть тело. Пальцы, трогающие дерево, – это ее пальцы, и кожа, чувствующая холод, – ее кожа. Она попробовала шевельнуть рукой, и у нее получилось.

Рядом шевелился и дышал мужчина. Она знала его имя и знала, кто это: ее хозяин, единственная цель ее существования, а она была големом, покорным его воле. И сейчас хозяин хотел, чтобы она открыла глаза.

Она открыла глаза.

В тусклом свете хозяин стоял на коленях рядом с ящиком. Его лицо и волосы были мокрыми от пота. Одной рукой он держался за край ящика, другую прижимал к животу.

– Привет, – прошептал Ротфельд, у которого от дурацкого смущения вдруг перехватило горло. – Ты знаешь, кто я?

– Ты мой хозяин. Тебя зовут Отто Ротфельд. – Ее голос был ясным и звучным, хоть и немного низковатым.

– Правильно, – подтвердил он, словно разговаривая с ребенком. – А кто ты такая, ты знаешь?

– Голем. – Она ненадолго задумалась. – У меня нет имени.

– Пока нет, – улыбнулся Ротфельд. – Надо будет придумать.

Его лицо вдруг исказилось, и голему не надо было спрашивать отчего: боль хозяина приглушенным эхом отзывалась и в ее теле.

– Тебе больно, – встревоженно проговорила она.

– Ерунда, – покачал головой Ротфельд. – Сядь.

Она села в ящике и огляделась. Керосиновая лампа давала тусклый свет, столб которого качался вместе с судном. Тени то вытягивались, то становились совсем короткими и прятались в щелях между сундуками и коробками.

– Где мы?

– На корабле, плывем по океану, – объяснил Ротфельд. – Мы направляемся в Америку. Тебе надо быть очень осторожной. Тут куча людей, и они испугаются, если узнают, кто ты такая. Он страха они могут причинить тебе вред. Ты должна лежать в ящике совсем тихо, пока мы не доплывем.

Судно внезапно накренилось, и женщина испуганно схватилась за края ящика.

– Не бойся, – прошептал Ротфельд и дрожащей рукой осторожно погладил ее по голове. – Со мной ты в безопасности. Мой Голем.

Вдруг он охнул, повалился головой на палубу, и его начало рвать. Голем смотрела на него озабоченно и печально:

– Твоя боль становится все сильнее.

Ротфельд закашлялся и вытер губы тыльной стороной руки:

– Говорю тебе, это ерунда.

Он попробовал встать, но снова повалился на колени. Волна паники захлестнула его, и он понял, что с ним происходит что-то серьезное.

– Помоги мне, – прошептал он.

Команда поразила женщину, словно стрела. Она моментально выбралась из ящика, нагнулась над Ротфельдом, подхватила его на руки, точно он весил не больше ребенка, и, прижимая его к себе, поспешила к трапу, ведущему из трюма наверх.

* * *

На нижней палубе с самыми дешевыми местами царило волнение. Спящие недовольно просыпались, а вокруг одной из коек, на которую свалился мужчина с серым от боли лицом, уже собралась небольшая толпа. «Доктора! – доносилось из нее. – Есть здесь доктор?»

Вскоре появился и врач в наброшенном поверх пижамы плаще. Высокая женщина в коричневом платье тревожно следила за тем, как он расстегивал рубашку больного. Осторожно он ощупал его живот, и Ротфельд пронзительно вскрикнул.

Женщина в коричневом платье молниеносным движением оттолкнула руку врача, и тот испуганно отшатнулся.

– Все в порядке, – прошептал лежащий мужчина. – Это врач. Он мне поможет. – Он протянул руку и сжал ее пальцы.

Доктор опять начал ощупывать живот больного, то и дело опасливо поглядывая на женщину.

– Это аппендицит, – объявил он наконец. – Больного надо срочно доставить к судовому хирургу.

Доктор взял Ротфельда за руку и поднял его на ноги, еще несколько пассажиров подхватили с другой стороны, и так плотной кучкой они двинулись через трюм: в центре теряющий сознание Ротфельд, а сзади – не отстающая ни на шаг женщина.

* * *

Судовой врач был из тех людей, которые терпеть не могут, когда их будят посреди ночи, да еще ради того, чтобы разрезать какого-то безмянного босяка с нижней палубы. Ему хватило одного взгляда на пациента, слабо шевелящегося на операционном столе, чтобы понять: любые усилия окажутся бесполезными. Высокая температура, лихорадка и воспаление аппендикса, который, скорее всего, уже прорвался и затопил брюшную полость пациента ядовитым гноем. Вряд ли тот вынесет операцию. Иностранцы, притаившие больного в каюту, смятенной кучкой уже выползли из дверей, так и не сказав за все время ни слова по-английски.

Что ж, делать нечего. Придется оперировать. Врач послал за своим помощником, а сам начал готовить инструменты. Он искал банку с эфиром, когда дверь у него за спиной с грохотом распахнулась. В каюту шагнула высокая темноволосая женщина, одетая, несмотря на ледяную атлантическую ночь, только в тонкое шерстяное платье. На лице у нее было выражение, близкое к панике. Его жена или возлюбленная, решил доктор.

– Надеяться на то, что вы говорите по-английски, по всей видимости, не приходится, – пробурчал он, и, разумеется, в ответ она только молча уставилась на него. – Боюсь, вам нельзя здесь оставаться. Женщинам не разрешается присутствовать при операциях. Прошу вас, уйдите. – Он указал ей на дверь.

Она его, по крайней мере, поняла, решительно помотала головой и начала что-то горячо объяснять на идише.

– Послушайте, – снова заговорил хирург и крепко взял ее за локоть.

Ощущение было таким, словно он взялся за уличный фонарный столб. Женщина не тронулась с места и только нависла над ним, грозная и вдруг показавшаяся гигантской, как валькирия. Испуганно, точно обжегшись, доктор выпустил ее руку.

– Поступайте как хотите, – буркнул он, отвернулся и опять занялся банкой с эфиром, стараясь не обращать внимания на странную тень, маячащую за спиной.

Дверь в каюту снова открылась, и в нее вошел встрепанный, еще не совсем проснувшийся молодой человек:

– Доктор, я... О боже милостивый!

– Не обращай на нее внимания, – посоветовал помощнику доктор. – Она отказывается уходить. Если упадет в обморок, тем лучше для нее. А сейчас поспеши, не то он умрет раньше, чем мы его разрежем.

Он усыпил своего пациента с помощью эфира, и они приступили к работе.

Если бы двое медиков знали о том, какая страшная борьба происходит в душе стоящей у них за спиной женщины, они побросали бы свои инструменты и в ужас бросились прочь из операционной. И если бы женщина была немного поглупее, она задушила бы их обоих в тот самый момент, когда скальпель коснулся кожи ее хозяина. Но она помнила о докторе на нижней палубе и о том, как хозяин верил, что он ему поможет, а ведь это тот доктор доставил его сюда. И все-таки, пока медики вскрывали брюшную полость больного и рылись в его внутренних органах, ее кулаки судорожно сжимались и разжимались. Всею душой она мысленно стремилась к хозяину, но никак не могла уловить его сознания, желаний или приказов. Она теряла его и понимала это.

Хирург достал что-то из тела Ротфельда и бросил в таз.

– Ну вот, мы удалили эту гадость, – сказал он и оглянулся через плечо. – Еще держишься? Молодец.

– Может, она слабоумная? – вполголоса предположил помощник.

– Не обязательно. У этих крестьян железные желудки. Саймон, зажим!

– Простите, сэр.

А тем временем тело на столе проигрывало борьбу за жизнь. Отто Ротфельд вздохнул раз, другой, третий, а потом испустил свой последний, неверный вздох.

Голем вздрогнула и сильно пошатнулась, когда порвалась и растаяла последняя, связывающая ее с хозяином нить.

Врач наклонил ухо к груди Ротфельда, взял его за руку и тут же бережно вернул ее на место.

– Запиши время смерти, – велел он помощнику.

Тот сглотнул и взглянул на хронометр:

– Два часа сорок восемь минут.

На лице врача было написано искреннее огорчение.

– Ничего нельзя было поделать, – с горечью сказал он. – Он слишком долго тянул. Боль, наверное, продолжалась не один день.

Женщина не сводила глаз с неподвижной фигуры, распростертой на столе. Еще мгновение назад это был ее повелитель, смысл ее жизни, а теперь он превратился в ничто. Она чувствовала себя потерянной и совершенно беспомощной. Шагнув вперед, она прикоснулась рукой к его лицу, отвалившейся челюсти, навсегда опущенным векам. Он уже начал остывать.

Пожалуйста, не надо.

Женщина отдернула руку и оглянулась на двух мужчин, в ужасе следящих за нею. Никто не нарушал молчания.

– Примите мои соболезнования, – произнес наконец хирург, надеясь, что она поймет его тон. – Мы сделали все, что могли.

– Я знаю, – кивнула женщина и только потом сообразила, что поняла фразу на незнакомом языке и ответила на нем же.

Хирург озадаченно нахмурился и переглянулся с помощником

– Миссис... Простите, а как его звали?

– Ротфельд, – ответила женщина. – Отто Ротфельд.

– Миссис Ротфельд, поверьте, мне очень жаль. Возможно...

– Вы хотите, чтобы я ушла.

Это был не вопрос и не внезапное осознание неуместности своего присутствия. Она просто знала, так же четко, как видела тело своего мертвого хозяина на столе, как ощущала ядовитые пары эфира, что этим людям мешает ее присутствие.

– Да, думаю, так будет лучше, – подтвердил хирург. – Саймон, пожалуйста, проводи миссис Ротфельд на нижнюю палубу.

Она позволила молодому человеку вывести себя в коридор. Ее била крупная дрожь. Какая-то часть ее все еще металась вокруг в поисках Ротфельда. И в то же время откровенное смущение помощника и его желание поскорее избавиться от нее туманили ей мысли и мешали думать. Что происходит с ней?

У дверей, ведущих в помещение нижней палубы, юноша виновато пожал ей руку и поспешно удалился. Что же ей делать? Войти туда и оказаться лицом к лицу со всеми этими людьми? Она неуверенно взялась за ручку двери и приоткрыла ее.

Желания и страхи пяти сотен пассажиров навалились на нее душной волной.

Когда же я наконец засну? Хоть бы его перестало тошнить. Он когда-нибудь прекратит храпеть? Как хочется пить. Сколько еще осталось до Нью-Йорка? А если наш пароход пойдет ко дну? Если бы мы были вдвоем, то занялись бы любовью. Господи, как же я хочу вернуться домой.

Выпустив ручку двери, женщина бросилась прочь.

На пустынной верхней палубе она нашла скамейку и решила просидеть на ней до утра. Начал накрапывать холодный дождик, и скоро он насквозь промочил ее платье, но она не замечала ничего, кроме сумятицы у себя в голове. Ей казалось, что, оставшись без команд Ротфельда, ее сознание мечется в поисках замены и наталкивается на желания и мысли всех пассажиров, наполнявших судно. Между ними и ею не существовало тех уз, что связывают хозяина с его големом, и потому их желания не превращались в команды, но тем не менее она слышала их, ощущала их остроту, и ее тело непроизвольно дергалось в стремлении исполнить. Каждое чужое желание было как маленькая рука, дергающая ее за рукав: *Пожалуйста, сделай что-нибудь.*

* * *

Утром, стоя у самого палубного ограждения, она смотрела, как Ротфельда опускают в океан. День выдался ветреным, и волны украсились белыми барашками. Они поглотили тело Ротфельда почти без всплеска и брызг, а судно ни на миг не прервало своего движения. Возможно, подумала женщина, и ей лучше было бы последовать за хозяином. Она шагнула вперед и перегнулась через перила, пристально всмотрелась в морскую глубину, но два человека, отделившись от кучки зевак, торопливо подскочили к ней и отвели вглубь палубы.

Скоро любопытные разошлись. Мужчина в судовой ливрее вручил ей маленькую кожаную сумочку, объяснив, что это все имущество Ротфельда. Немногим раньше какой-то добросердечный член экипажа накинул женщине на плечи шерстяную куртку, и сейчас она засунула сумку в карман куртки.

Небольшая кучка пассажиров с нижней палубы совещалась, недоумевая, что делать с ней дальше. Оставить в покое или проводить ее вниз? Всю ночь от койки к койке переползали

слухи. Один человек настаивал, что странная женщина вынесла покойного на нижнюю палубу на руках. Какая-то дама уверяла, что заметила Ротфельда еще в Данциге, где он костерил матросов, чересчур небрежно бросивших тяжелый деревянный ящик, и что на судно он садился один. Они вспоминали, как она, точно дикое животное, схватила доктора за руку. Да, в этой женщине было что-то очень странное. И стояла она слишком неподвижно, словно приросла к палубе, и оставалась безучастной к ледяному ветру, от которого дрожали все остальные. Она смотрела вперед, совсем не моргая, и, кажется, еще не проронила ни слезинки.

Наконец они решили заговорить с ней, но своим чутьем голема она уловила их страхи и подозрения, а потому отвернулась от поручней и решительно пошла прочь, демонстрируя прямую спину и явное желание остаться в одиночестве. Когда она проходила мимо, им показалось, что на них пахнуло холодным воздухом могилы, и они охотно оставили ее в покое.

Женщина прошла через всю палубу к ведущему вниз трапу и спустилась в грузовой трюм – единственное в ее короткой жизни место, где она не чувствовала себя в опасности. Она нашла открытый ящик, забралась в него и, приподняв крышку, задвинула ее. Лежа в полной темноте, она снова и снова перебирала в голове то небольшое, что успела узнать. Она – голем, а ее хозяин мертв. Она находится на судне посреди океана. Если остальные пассажиры узнают, кто она такая, они будут ее бояться. Поэтому до конца путешествия ей придется оставаться здесь.

Некоторые, самые сильные желания пассажиров наверху достигали ее даже в глубине трюма. Маленькая девочка с нижней палубы потеряла игрушечную лошадку и теперь, безутешная, все плакала и плакала. Какой-то пассажир второго класса, решивший начать новую жизнь, вот уже третий день не брал в рот спиртного. Запустив пальцы в растрепанные волосы и дрожа, он метался по своей крошечной каюте и не мог думать ни о чем, кроме порции бренди. Эти и множество других желаний то ненадолго ослабевали, то набрасывались на нее с новой силой, гнали куда-то, побуждали бежать наверх и помогать, но она слишком хорошо помнила подозрительные взгляды пассажиров на палубе и потому оставалась в ящике.

Она провела в нем остаток дня и всю ночь, прислушиваясь к скрипам и жалобным стонам других ящичков и сундуков. Она чувствовала себя бессмысленной и бесполезной. И понятия не имела, что делать дальше. Единственным намеком на то, куда они направляются, было слово, услышанное от Ротфельда. *Америка*. Оно могло означать все что угодно.

* * *

Следующий день встретил судно теплой погодой и радостным зрелищем: тонкой серой полоской, разделившей океан и небо. Все пассажиры высыпали на палубу и не отрываясь смотрели на запад – туда, где серая полоска на глазах становилась все шире. А это значило, что их главное желание исполнено, а о страхах можно хотя бы ненадолго забыть; и внизу, в своем ящике в грузовом трюме, Голем чувствовала неожиданное и сладостное освобождение.

Непрерывное рычание судового винта превратилось в мурлыканье. Ход парохода замедлился. А скоро стали слышны дальние голоса, крики, приветствия. Любопытство погнало Голема прочь из трюма, и она вступила наконец на залитую солнцем палубу.

Там уже собралось полно людей, и сначала было непонятно, кому они все машут, а потом она подняла глаза и увидела ее: серо-зеленую женщину, возвышающуюся прямо посреди волн, с факелом в правой руке и табличкой в левой. Женщина стояла совершенно неподвижно и не мигая смотрела вперед, – может быть, она тоже была големом? Потом стало ясно, что расстояние до фигуры очень велико и что на самом деле она гигантского размера. И что она не живая, хотя в слепых, гладких глазах светилось какое-то понимание. И все собравшиеся на палубе махали ей, кричали что-то радостное, плакали и улыбались сквозь слезы. Эта женщина тоже была искусственно создана. И что бы она ни означала для всех остальных, они любили и уважали ее за это. Впервые со смерти Ротфельда в душе у Голема проснулась робкая надежда.

Вдруг воздух вокруг задрожал от звука паровой сирены. Женщина уже собиралась вернуться к себе в трюм и только тогда заметила город. Огромный и невероятный, он поднимался на краю острова. Высокие прямоугольники домов, казалось, танцуют некий странный танец, выстраиваясь в ряды. Уже можно было разглядеть деревья, причалы и множество лодок и буксиров, снующих по гавани, будто проворные водные насекомые. Длинный серый мост, подвешенный на паутине тросов, тянулся к восточному берегу. Женщина решила было, что они проплывут под ним, но вместо этого огромное судно повернуло на запад и приблизилось к порту. Океан превратился в реку.

На палубе появились люди в форме; они расхаживали среди пассажиров и кричали:

– Идите и забирайте свои вещи. Скоро мы встанем на якорь, и паромом вас отвезут на остров Эллис. Ваш багаж, находящийся в трюме, будет доставлен туда же.

Только услышав эти слова полдюжины раз, она сообразила, что люди в форме говорят на разных языках и что она понимает их все.

Очень скоро на палубе не осталось ни одного пассажира. Женщина стояла в тени рубки и пыталась думать. Никаких вещей, кроме подаренной куртки, у нее не было; сейчас темная шерсть приятно нагревалась под солнечными лучами. Женщина сунула руку в карман и нащупала кожаную сумочку. Все на месте.

Пассажиры жидким ручейком, а потом и широким потоком опять начали появляться на палубе. Все они были по-дорожному одеты, а в руках держали чемоданы и сумки. Мужчины в форме снова засновали между ними, выкрикивая:

– Вставайте в очередь. Будьте готовы назвать свое имя и национальность. Не толпитесь. Не толкайтесь. Следите за детьми.

Женщина стояла в сторонке и не понимала, что ей делать. Встать в очередь? Спрятаться где-нибудь? Чужие желания и мысли мешали ей ясно думать: все вокруг мечтали только о чистом карантинном свидетельстве и быстром прохождении формальностей.

Один из людей в форме заметил ее и неуверенно двинулся в ее сторону. Какой-то пассажир остановил его, тронув за плечо, и начал что-то быстро говорить ему на ухо. Это был доктор, которого первым позвали к больному. В руках у офицера была стопка бумаг, и он начал торопливо пролистывать ее, что-то ища. Потом нахмурился и отошел от доктора, который поспешно вернулся в очередь.

– Мэм, – окликнул Голема офицер, – подойдите ко мне, пожалуйста. – (Она подошла, и все стоящие вокруг пассажиры вдруг замолчали.) – Это ведь у вас умер супруг, так?

– Да.

– Мои соболезнования, сударыня. Наверное, это чей-нибудь недосмотр, но я не нашел вас в списке пассажиров. Позвольте взглянуть на ваш билет.

Ее билет? Никакого билета у нее, конечно, не было. Можно было солгать и сказать, что она его потеряла, но ей еще никогда в жизни не приходилось лгать, и она боялась, что не сумеет сделать это убедительно. Оставалось только молчать или говорить правду.

– У меня нет билета, – сказала она и улыбнулась в надежде, что это как-то поможет.

Офицер устало вздохнул и крепко взял ее за руку повыше локтя:

– Тогда вам придется пройти со мной, сударыня.

– Куда?

– Посидите в изоляторе, пока все пассажиры не сойдут, а потом мы зададим вам пару вопросов.

Как же ей быть? Она ни за что не сможет ответить на их вопросы. Все вокруг молчат и смотрят на нее. Встревоженная, она огляделась, словно раздумывая, куда бежать. Пароход медленно плыл по самой середине реки в сопровождении нескольких суденышек с каждого борта. За вытянувшимся вдоль берега портом приветливо маячил город.

Рука офицера сильнее сжала ей локоть.

– Сударыня, не вынуждайте меня применять силу.

Но она точно знала, что ему совсем не хочется применять силу. Ему вообще не хочется возиться с ней. Больше всего ему хочется, чтобы она куда-нибудь исчезла.

Улыбка слегка раздвинула губы Голема. Вот наконец-то желание, которое она может исполнить.

Чуть шевельнув локтем, женщина сбросила руку ошеломленного офицера, одним прыжком подскочила к поручням и, прежде чем кто-нибудь успел вскрикнуть, перепрыгнула через них, врезалась в сверкающую воду Гудзона и камнем пошла ко дну.

Несколько часов спустя грузчик, докуривая сигарету на углу Гансерворт и Западной, заметил женщину, идущую к нему со стороны реки. Она была насквозь мокрой. С шерстяной куртки мужского покроя и с подола коричневого платья, нескромно облепившего ее тело, стекала вода. Волосы сзади прилипли к шее. Но самым удивительным был жирный слой ила, облепивший подол платья и туфли.

– Эй, мисс, – окликнул ее грузчик, – решили поплавать?

На лице женщины появилась странная улыбка.

– Нет, я шла пешком, – сказала она, проходя мимо.

2

В том районе Нижнего Манхэттена, что носит название Маленькая Сирия, неподалеку от места, где Голем вышла на берег, жил жестянщик по имени Бутрос Арбели. Он был католиком-маронитом и появился на свет в большом селении Захле, раскинувшемся в долине у самого подножия Ливанского хребта. Арбели вырослел как раз в то время, когда, казалось, все мужчины, не достигшие тридцати лет, уезжали из Большой Сирии, чтобы найти счастье в Америке. Одних толкали в путь рассказы миссионеров или уехавших ранее родственников, которые присылали домой письма, толстые от вложенных банкнот. Другие бежали от обязательной воинской повинности и непомерных налогов, установленных турецкими правителями. Всего народу уехало столько, что в некоторых селениях опустели рынки, а в разбитых по склонам холмов виноградниках неубранные гроздья так и высыхали на лозах.

У покойного отца Арбели было пятеро братьев, и доставшиеся им после раздела участки земли, которая и до них много поколений делилась между родственниками, были до того малы, что там и сажать-то ничего не стоило. Сам Арбели, ставший учеником жестянщика, зарабатывал жалкие гроши. Его мать и сестры разводили шелковичных червей, чтобы пополнить скудный семейный бюджет, но заработанных денег едва хватало на еду. Все стремились в Америку, и Арбели решил, что и ему должно повезти там. Он распрощался с семьей, сел на отправляющийся в Нью-Йорк пароход и уже скоро арендовал небольшую мастерскую на Вашингтон-стрит, в самом центре стремительно растущего сирийского квартала.

Арбели оказался хорошим и добросовестным работником, и даже на заполненном товарами рынке Нью-Йорка его изделия выделялись высоким качеством и умеренной ценой. Он делал тарелки и чашки, горшки и сковородки, кухонные инструменты, наперстки и подсвечники. Иногда кто-нибудь из соседей просил его отремонтировать прохудившуюся кастрюлю или погнутую дверную петлю, и, когда он возвращал хозяину вещь, она была лучше, чем новая.

Тем летом Арбели получил интересный заказ. Женщина по имени Мариам Фаддул принесла в его мастерскую старый и порядком помятый, но все-таки красивый медный кувшин. Он хранился в семье столько, сколько Мариам себя помнила; ее мать держала в нем оливковое масло, а когда дочь уезжала в Америку, отдала ей со словами: «Пусть с тобой всегда будет кусочек родины».

Мариам и ее муж Саид открыли на Вашингтон-стрит кофейню, которая скоро стала любимым местом встреч всех соседей. И вот как-то утром, оглядывая свою кухню, на которой так и кипела работа, Мариам решила, что старый кувшин, хоть и любимый по-прежнему, стал выглядеть чересчур жалко. Может, Арбели сумеет хотя бы выправить несколько вмятин? И возможно, отполировать его заново?

Оставшись один, Арбели внимательно рассмотрел кувшин. Тот был дюймов девяти в высоту, круглым, как луковица, внизу, с узким высоким горлышком. Мастер украсил его очень тонким и изящным узором. Вместо обычного повторяющегося орнамента весь сосуд был покрыт причудливыми петлями и завитками, прихотливо и вроде бы беспорядочно переплетающимися друг с другом.

Зачарованный, Арбели долго вертел кувшин в руках. Тот явно был очень старым – вероятно, гораздо старше, чем представляли себе Мариам и ее мать. С чистой медью уже давно никто не работал из-за ее излишней мягкости; латунь и жечь служили куда дольше, и работать с ними было легче. Вообще-то, учитывая его возможный возраст, кувшин сохранился даже лучше, чем можно было ожидать. Вот только мастера, изготовившего его, установить не удалось: на доньшке не было никакого клейма.

Арбели внимательно рассмотрел несколько глубоких вмятин на стенках и понял, что, если он попытается выправить их, узор пострадает и следы все равно останутся. Лучше будет, решил он, отполировать всю поверхность, а потом нанести орнамент заново.

Арбели обернул широкую часть сосуда тончайшим пергаментом, взял угольный карандаш и, осторожно потирая им по пергаменту, скопировал весь созданный старым мастером узор в мельчайших подробностях. Потом, закрепив сосуд в тисках, снял с огня свой самый маленький паяльник.

Но стоило Арбели наклониться над сосудом, его вдруг охватило странное дурное предчувствие, от которого гусиной кожей покрылись спина и руки. Задрожав, он отложил паяльник и сделал глубокий вдох. Что так испугало его? На улице тепло, он хорошо позавтракал, был совершенно здоров, и дела шли хорошо. Он потряс головой, снова взялся за паяльник и прикоснулся раскаленным кончиком к одному из завитков орнамента.

В то же мгновение могучий удар обрушился на него с силой и внезапностью молнии. Арбели взлетел в воздух и приземлился в куче тряпья за верстаком. В голове у него все крутилось, а в ушах стоял звон. Он повернулся и попытался оглядеться.

На полу посреди его мастерской лежал обнаженный мужчина.

Не веря своим глазам, Арбели смотрел, как мужчина с трудом сел и закрыл лицо ладонями. Затем тот опустил руки и обвел мастерскую горящим, ошеломленным взглядом. Можно было подумать, что долгие годы его держали в самом темном и глубоком подземелье, а теперь грубо вытолкнули на свет.

Пошатываясь, незнакомец поднялся на ноги. Он был высок, хорошо сложен и красив. Даже слишком красив – его черты отличались какой-то пугающей безупречностью, словно у ожившей картины. Темные волосы были коротко подстрижены. Казалось, он не сознает своей наготы.

На правом запястье мужчины Арбели заметил металлический браслет, и в то же мгновение его, похоже, увидел и сам незнакомец. Он вытянул руку и в ужасе уставился на украшение.

– Железо, – прошептал он и добавил: – Но это невозможно.

Наконец человек заметил и Арбели, скорчившегося за верстаком и не смеющего дышать.

Одним ужасающе сильным и грациозным движением мужчина наклонился к нему, схватил за шею и рывком поднял с пола. Перед глазами Арбели поплыл багровый туман. Он чувствовал, что его голова касается потолка.

– Где он? – выкрикнул мужчина.

– Кто? – прохрипел жестянщик.

– Колдун!

Арбели пытался говорить, но мог только нечленораздельно мычать. В досаде обнаженный мужчина разжал руки, и Арбели свалился на пол, хватая ртом воздух. Он огляделся в поисках какого-нибудь оружия, и тут взгляд его упал на лежащий в куче ветоши дымящийся паяльник. Схватив его за рукоятку, он бросился на обидчика.

Стремительное, едва заметное движение – и жестянщик вновь оказался распростертым на полу, а к ямке у основания его горла прижималась рукоятка паяльника. Опустившийся на колени незнакомец склонился над ним. Паяльник он держал прямо за раскаленный до красноты кончик и даже не морщился. И в воздухе не пахло обожженной плотью. Арбели с ужасом смотрел в его невыносимо прекрасное лицо и чувствовал, как холодная рукоятка инструмента становится все теплее, теплее и уже обжигает кожу, будто нагревается от держащей ее руки.

Это, подумал Арбели, абсолютно, абсолютно невозможно.

– Скажи мне, где искать колдуна, – потребовал незнакомец, – и я убью его.

Жестянщик смотрел на него, открыв рот.

– Он заточил меня в человеческое тело. Скажи мне, где его искать!

К Арбели постепенно возвращалась способность думать. Он еще раз взглянул на паяльник и вспомнил странное предчувствие, овладевшее им перед тем, как он прикоснулся инструментом к кувшину. Вспомнил бабушкины рассказы о лампах и сосудах с заточенными в них удивительными существами.

Нет, это просто невозможно. Такое бывает только в старых сказках. Но в ином случае остается предположить, что он внезапно сошел с ума.

– Сэр, – пролепетал он, – вы джинн?

Губы незнакомца дрогнули и окаменели, а взгляд стал настороженным. Но он не засмеялся над глупым вопросом и не назвал жестянщика сумасшедшим.

– Так и есть, – выдохнул Арбели. – Господи боже мой, *так и есть*. – Он с трудом сглотнул и поморщился, потому что рукоятка паяльника жгла ему кожу. – Прошу вас. Я не знаком с этим колдуном. По правде говоря, я думаю, что колдунов вообще уже не осталось на свете. – Он немного помолчал. – Наверное, вы провели в этом кувшине очень много времени.

Человек, похоже, услышал и понял его. Он медленно убрал паяльник от шеи жестянщика, потом выпрямился и огляделся, как будто только что увидел, где находится. Сквозь высокие окна в мастерскую проникали звуки улицы: стук колес и лошадиных копыт, крики мальчишек-газетчиков. С Гудзона донесся пароходный гудок, глухой и низкий.

– Где я? – спросил незнакомец.

– В моей мастерской. В городе Нью-Йорке. – Арбели старался говорить спокойно. – А все это место называется Америкой.

Человек подошел к верстаку и взял с него один из паяльников, длинный и тонкий. Он смотрел на него с ужасом и изумлением.

– Настоящий, – сказал человек. – Он настоящий.

– Да, – подтвердил Арбели. – Боюсь, что так.

Человек отложил паяльник. Его челюсти сжались. Он словно готовил себя к худшему.

– Покажи мне, – потребовал он наконец.

* * *

Босой, облаченный только в старую рубашку Арбели и в рабочие штаны, Джинн стоял у ограды Кастл-гарденз на южной оконечности Манхэттена и не отрываясь смотрел на залив. Арбели стоял рядом, но вплотную приблизиться не решался. Одежду они отыскиали в куче ветоши у него в мастерской. Штаны были в пятнах от припоя, а рукава рубашки – в давно прожженных дырах. Арбели пришлось научить своего гостя застегивать пуговицы.

Пораженный открывшимся видом, Джинн перегнулся через низкую ограду. Он был жителем пустыни и никогда еще не видел такой массы воды. Она плескалась о камни у самых его ног и словно старалась подобраться еще ближе. Полуденное солнце таяло в ней и окрашивало непрерывно колыхающуюся поверхность в разные цвета. Почти невозможно было поверить, что все это не мираж, созданный специально, дабы сбить его с толку. Казалось, в любое мгновение и город и вода могут растаять в воздухе, уступая место знакомым холмам и степям Сирийской пустыни, служившей ему домом почти двести лет. Но минуты текли и текли, а Нью-Йорк и вода упрямо оставались на месте.

Как же, спрашивал себя Джинн, он оказался здесь?

Сирийская пустыня – далеко не самая суровая и бесплодная среди арабских пустынь, но все-таки она может показаться очень неприветливой тому, кто не знает ее секретов. Именно здесь в седьмом веке, как позже назовут это время люди, и родился Джинн.

Из множества кланов джиннов – а они порой сильно отличаются друг от друга и наделены разными приметами, свойствами и способностями – он принадлежал к самой могучей и умной.

Его внешний облик был непостоянен, как дуновение ветерка, и так же невидим для людей. В этом подлинном облике он повелевал ветрами и перемещался на них по всей пустыне. А кроме того, он мог принимать вид любого животного, и тогда тело его становилось по-звериному плотным, словно состояло из костей и мускулов. Он смотрел на мир глазами зверя и ощущал его звериной кожей, но внутри всегда оставался джинном, порождением огня, так же как люди являются порождением земли. И, как все прочие джинны – от отвратительных, поедающих мертвечину гулей до хитрых озорников-ифритов, – он никогда не оставался в одном облике надолго.

Как правило, джинны тяготеют к одиночеству, и нашему Джинну это свойство было присуще более, чем другим. В юности он иногда принимал участие в традиционных ритуалах и воздушных битвах, так популярных среди его сородичей: воспользовавшись каким-нибудь незначительным предлогом или распрей между кланами, они призывали на помощь ветры и, оседлав их, бросались в битву. Сотни джиннов взмывали в небо, порождая сотни смерчей, воздух наполнялся песком, и все прочие обитатели пустыни прятались в пещерах или хотя бы в тени скал, ожидая конца шторма.

Джинн повзрослел, подобные развлечения наскучили ему, и со временем он полюбил странствовать по пустыне в одиночестве. От природы он был любознателен – хотя ничто не могло удержать его внимания надолго – и на спинах ветров путешествовал от Ливийской пустыни на западе до равнин Исфахана на востоке. Путешествия эти были сопряжены с немалым риском, потому что даже в самых засушливых пустынях случаются дожди, и начинаются они обычно без всякого предупреждения, а ведь джинну, попавшему под дождь, грозит смертельная опасность. Какой бы облик он ни принял, и даже если обходился совсем без облика, он оставался все тем же – живой искрой огня, которую так легко потушить.

Но судьба или мудрость берегла Джинна, он ни разу не попал под дождь и странствовал, где хотел. Иногда он пускался на поиски золотых и серебряных жил, поскольку, как и все джинны, был искуснейшим кузнецом. Он умел изготавливать из металла нить не толще человеческого волоса, или тонкие, как шелк, листы, или витые канаты. Единственным металлом, к которому он никогда не прикасался, было железо: ведь всем известно, что джинны испытывают перед железом настоящий ужас и шарахаются от скал с прожилками железной руды, как шарахается человек, увидевший на дороге змею.

Можно пересечь пустыню вдоль и поперек и ни разу не встретить другого разумного существа. Но джинны никогда не ощущали себя в полном одиночестве, потому что долгие тысячелетия люди были их соседями. Племена бедуинов-кочевников странствовали по пескам, добывая в них скудные средства для своего существования. А далеко на западе и востоке были еще и города, которые с каждым годом росли и посылали в другие города все больше караванов. Но хоть джинны и люди были соседями, приязни друг к другу они никогда не испытывали. Люди опасались джиннов в большей степени, поскольку те умели становиться невидимыми или принимать чужой облик. Некоторые колодцы, пещеры и расщелины в скалах считались у людей обиталищем джиннов, и они старались обходить их подальше. Бедуинские матери пришивали к одежде своих малышей амулеты из железных бусинок, дабы отпугнуть джинна, который пожелает вселиться в младенца или похитить его, чтобы сделать оборотнем. Старики рассказывали, что когда-то давно среди людей жили колдуны, обладающие великим и опасным знанием, которые умели повелевать джиннами и могли загнать их в какой-нибудь сосуд или лампу. Но времена таких колдунов, уверяли старики, давно уже прошли, и от их знаний осталась только слабая тень.

Но сами джинны жили подолгу – раз в восемь или девять дольше людей, – и их память о могущественных колдунах еще не превратилась в легенду. Джинны постарше предостерегали молодых от встреч с людьми и уверяли, что те хитры и коварны. Знания колдунов, на время утерянные, могут снова быть найдены. Лучше соблюдать осторожность. И потому все обще-

ние джиннов с людьми сводилось к редким неприятным происшествиям, устроенным обычно каким-нибудь джинном низшей касты, гулем или ифритом, просто из озорства или злобы.

В юности Джинн прислушивался к предостережениям старших и соблюдал осторожность. Странствуя по пустыне, он избегал встреч с бедуинами и никогда не приближался к караванам, медленно бредущим через пески к рынкам Сирии и Джазиры, Ирака и Исфахана. Но однажды случилось то, что неизбежно должно было случиться, – завидев вдалеке вереницу из двадцати или тридцати человек и множества верблюдов, нагруженных драгоценными товарами, Джинн вдруг захотел разузнать о них побольше. Те джинны, о которых рассказывали старики, были глупы и упрямы и потому оказались пойманными, но он не таков. Ничего страшного не случится, если он просто понаблюдает.

Джинн приблизился к каравану на безопасное расстояние и начал следить за ним. На мужчинах были длинные и широкие многослойные одеяния, пропыленные после долгой дороги, а головы они укрывали от солнца клетчатой тканью. Ветерок доносил до Джинна обрывки их разговоров: о месте, куда они направлялись, о возможной встрече с разбойниками. Сильная усталость приглушала их голоса, горбила спины. Какие из них колдуны! Владей они высшими силами, давно бы уже безопасно перенеслись через пустыню.

Прошло несколько часов. Солнце уже клонилось к закату, а караван вступил в незнакомую для Джинна местность. Тогда он вспомнил об осторожности и вернулся на безопасную территорию. Но это короткое знакомство с людьми только разожгло его любопытство. Он начал уже специально отыскивать в пустыне караваны и следовать за ними, правда всегда на безопасном расстоянии, потому что, если он слишком приближался, животные начинали нервничать и вели себя беспокойно и даже люди ощущали спиной что-то вроде ветерка. По вечерам, когда путники останавливались на ночевку в оазисе или караван-сараях, Джинн подслушивал их разговоры. Иногда они говорили о предстоящем пути, о своих болезнях, бедах и лишениях. Иногда вспоминали детство и сказки, услышанные от матерей, бабушек и теток. Хвастались, рассказывали друг другу уже повторенные много раз истории о собственных подвигах или о деяниях давно ушедших царей, калифов и визирей. Легенды эти они знали наизусть, но все-таки каждый раз рассказывали по-разному, долго и с удовольствием спорили о деталях. Особенно интересовали Джинна всякие упоминания о его сородичах, вроде легенды о Сулеймане, который, первый и последний из земных царей, победил джиннов и подчинил их своей воле.

Джинн слушал, размышлял и скоро пришел к выводу, что люди – это удивительные существа, состоящие из множества парадоксов. Что толкает этих чудаков с таким коротким сроком жизни к саморазрушению? Чем влекут их полные опасностей путешествия и кровавые войны? И как уже к восемнадцати или двадцати годам достигают они такой мудрости и мастерства? Из их разговоров Джинн узнал об удивительных постройках в больших городах вроде аш-Шама и аль-Кудса¹: просторных рынках и новых мечетях, восхитительных зданиях, подобных которым еще не видел свет. Джинны не любят замкнутых пространств и никогда их не строят. Чаще всего их жилища – это примитивное укрытие от дождя. Но наш Джинн увлекся новой идеей. Он выбрал подходящий участок в долине и все время, свободное от наблюдения за караванами, посвящал теперь строительству собственного дворца. Он раскалял песок пустыни и превращал его в податливые листы матового, сине-зеленого стекла, лепил из них стены и лестницы, полы и балконы. Снаружи он оплетал стены тонкой филигранью золотых и серебряных нитей, так что казалось, будто весь дворец покоится в сверкающей паутине. Несколько месяцев он строил и тут же перестраивал его и дважды в досаде разрушил до основания. Даже когда здание было достроено и Джинн уже поселился в нем, он постоянно что-то переделывал: чтобы положить пол в одной комнате, снимал потолок в другой, и та оставалась открытой свету звезд; находил в пустыне новые золотые жилы и добавлял филигрانی на стены, а потом вдруг обдирал

¹ Древние арабские названия, Дамаска и Иерусалима соответственно. (Здесь и далее прим. перев.)

ее всю, чтобы позолотить интерьер центрального зала. Бульшую часть времени дворец, как и сам Джинн, оставался невидимым, но иногда на закате последние лучи уходящего солнца словно поджигали его, и какой-нибудь путник, увидев на горизонте пылающий золотом чертог, поспешно разворачивал коня, вонзал в его бока шпоры и только вблизи стоянки с ее кострами и людьми осмеливался перевести дух и оглянуться назад.

Тени в Кастл-гарденз становились все длиннее, а Джинн никак не мог оторвать взгляда от залива. Однажды, еще совсем юным, он набрел в пустыне на маленькую лужу. Молодые любят испытывать свои силы, и Джинн, приняв облик шакала, зашел в воду так, что она покрывала его до середины лап, и стоял там столько, сколько мог выдержать, чувствуя, как холод медленно просачивается в тело. Только поняв, что лапы больше не смогут держать его, он одним отчаянным прыжком выскочил из воды. Никогда за всю его жизнь смерть не подходила так близко. А ведь это была всего только маленькая лужа.

Джинн почувствовал тошноту и отвел глаза от воды. По заливу тут и там сновали проворные буксиры и небольшие пароходики, оставляющие за собой зыбкий расходящийся след. Дневной свет уже мерк, и волнистая линия холмов на горизонте стала совсем черной. На небольшом острове перед ними стояла женская фигура, сделанная из какого-то зеленоватого металла. Ее размер поражал воображение. Сколько же гор надо было сровнять с землей, сколько металла добыть, чтобы создать такую женщину? И почему она так уверенно стояла на тонком диске земли, не проваливаясь в море?

Арбели уверял, что этот залив всего лишь крошечная часть огромного, неподдающегося описанию океана. Даже приняв свой истинный облик, Джинн никогда не смог бы пересечь его, а сейчас истинный облик был для него недоступен. Он еще раз внимательно рассмотрел железный браслет в надежде отыскать в нем какой-нибудь изъян и опять ничего не нашел. Широкая и тонкая полоска металла плотно охватывала запястье и сбоку фиксировалась при помощи стержня, вставленного в петли. В свете заходящего солнца крепление тускло поблескивало. Джинн уже знал, что выдернуть или даже пошевелить стержень невозможно. И почему-то, даже не пробуя, он был уверен, что все инструменты Арбели окажутся тут бессильными.

Он закрыл глаза и, наверное, в сотый раз попытался, поборов заклятие браслета, изменить свой облик. Ощущение было такое, словно он не просто разучился, но никогда не умел делать этого раньше. И самое поразительное, что он совсем не помнил, как этот браслет оказался у него на руке.

Помимо долголетия, джинны наделены великолепной, почти эйдетической памятью, и Джинн не был исключением. Для него восстановленные человеком картины прошлого показались бы просто разрозненным набором неясных образов. Но те дни – недели? месяцы? – что предшествовали его пленению, были скрыты от него густым туманом.

Последнее, что Джинн помнил, – это возвращение домой после наблюдения за особенно большим караваном, состоящим из сотни человек и почти трех сотен верблюдов. Два дня он следовал за ним на восток, прислушивался к разговорам, постепенно узнавал некоторых из людей. Один погонщик, худой и уже в годах, постоянно напевал себе под нос. Он пел о храбрых воинах-бедуинах на быстрых конях и о добродетельных женщинах, любивших их, но в его голосе слышалась печаль, даже когда слова песен были радостными. Двое охранников обсуждали новую мечеть в аш-Шаме, названную Большой мечетью, – огромное здание невиданой красоты. Еще один молодой стражник собирался жениться, и приятели по очереди упражнялись в остроумии на его счет: обещали, что в первую брачную ночь спрячутся под стенами шатра и будут помогать новобрачному советами. Молодой стражник огрызался и спрашивал, с какой стати он должен доверять *их* советам, когда дело касается женщин, и в ответ выслушивал такие легенды о любовных подвигах старших товарищей, что вся компания хваталась за бока от смеха.

Джинн следовал за ними до тех пор, пока на горизонте не показалась тонкая полоса зелени. Это была Гута – оазис, стоящий на той же реке, что и сам аш-Шам. Завидев ее, он неохотно остановился и долго смотрел, как, удаляясь, караван становился все меньше, пока не начал походить на тоненькую стрелку, нацеленную прямо на Гуту. Полоса зелени выглядела довольно привлекательно, но Джинн помнил об осторожности и даже не попытался приблизиться к ней. Он был сыном пустыни и среди сочной растительности чувствовал бы себя не в своей тарелке. А кроме того, ходили слухи о существах, которые не слишком хорошо относились к случайно забредшим джиннам и легко могли заманить одного из них в реку и держать под водой до тех пор, пока тот не погаснет. Поэтому, решив проявить благоразумие, Джинн повернул домой.

Обратный путь был долгим, и, достигнув своего дворца, он вдруг ощутил странное и тягостное одиночество. Возможно, в этом был виноват караван. Он привык к этим людям, к их разговорам, песням и рассказам, но ведь он не был одним из них, он просто подслушивал. Наверное, для него пришел срок вернуться к своим сородичам. Джинн решил, что больше не станет преследовать караваны, а вместо этого отправится туда, где обитает его клан, и какое-то время поживет среди них. Может, даже найдет себе джиннию, которая сочтет его подходящим спутником. Он вернулся во дворец на закате, решил, что утром снова отправится в путь, – и на этом его воспоминания обрывались.

Только два образа ясно выступали из окутавшего память густого тумана. Смуглые узловатые пальцы застегивают железный браслет на его запястье, и охвативший его бездонный ледяной ужас – обычная реакция джиннов на близость железа (вот только почему он не чувствует его сейчас?). И вторая картинка: морщинистое мужское лицо, раздвинутые в ухмылке потрескавшиеся губы, выпученные желтые глаза, светящиеся торжеством. *Колдун*, подсказывала ему память. Вот и все – в следующее мгновение он, обнаженный и закованный в железный браслет, уже лежал на полу в мастерской Арбели.

Только прошло между этими событиями далеко не мгновение. Судя по всему, Джинн провел в кувшине больше тысячи лет.

Приблизительную дату его пленения помог вычислить Арбели, пока искал для своего гостя одежду в груде ветоши. Он настойчиво расспрашивал Джинна о каких-нибудь запомнившихся ему событиях в мире людей – событиях, которые хотя бы примерно помогут установить год или век. После нескольких неудачных попыток Джинн припомнил, как двое стражников из каравана разговаривали о Большой мечети, недавно открывшейся в аш-Шаме. «Они говорили, что в мечети хранится голова какого-то человека, а тела нет, – вспоминал он. – Это показалось мне бессмыслицей. Наверное, я не так понял».

Но Арбели заверил Джинна, что тот все понял правильно. Голова принадлежала человеку по имени Иоанн Креститель, а мечеть теперь называется мечетью Омейядов, и стоит она в аш-Шаме больше тысячи лет.

Это казалось невозможным. Как мог он провести столько лет в кувшине? Джинны редко жили больше восьмисот лет, а самому ему еще не исполнилось двухсот, когда он начал следить за караванами. Но тем не менее он не только не умер, но чувствовал себя таким же молодым, как раньше. Выходит, кувшин не только вмещал его тело, но и останавливал время? Наверное, решил Джинн, это устроил колдун, чтобы пленник оставался полезным как можно дольше.

Сейчас кувшин стоял на полке в мастерской Арбели. На нем, как и на железном браслете, не было клейма мастера. Арбели показал ему частично стертый орнамент на широкой части – очевидно, какой-то магический узор, удерживавший Джинна внутри. «Но как же ты там помещался, когда в кувшине было масло?» – несколько раз спрашивал недоумевающий жестянщик. Самому Джинну гораздо важнее было узнать, как он позволил заключить себя в сосуде, да еще в человеческом облике. Возможно, колдун проследил его до обители джиннов или устроил какую-то ловушку возле дома. Интересно, обращался ли с ним колдун, как

Сулейман со своими рабами, которых заставлял строить дворцы и казнить его врагов? Или просто выбросил кувшин с Джинном, как надоевшую игрушку, которая становится скучной, как только приобретешь ее?

Конечно, этот человек давно уже мертв. Могучие колдуны из старых сказок тоже были смертными. Желтоглазый человек обратился в прах много веков назад. Но заклятие, которое он наложил на Джинна, не исчезло даже с его смертью. Подкралась страшная, леденящая мысль: а что, если это навсегда?

Нет. Джинн быстро прогнал ее прочь. Так просто он не сдастся.

Он взглянул на железные перила и схватился за них обеими руками, сосредоточился. Джинн очень устал, – видимо, долгое пребывание в кувшине подорвало его силы. И все-таки через несколько мгновений металл раскалился докрасна. Он сжал перила еще сильнее, потом отпустил – и на металле остались отпечатки его пальцев. Нет, он далеко не беззащитен. Он все еще джинн, и один из самых могучих в своем племени. Выход всегда найдется.

Его пробрал озноб, но он не обратил на это внимания. А развернулся и посмотрел на город, словно поднимающийся из воды, на прямоугольные громады зданий, достающих до самого неба, на окна, сверкающие идеально ровными стеклами. Каким бы великолепием, судя по рассказам караванщиков, ни поражали города аш-Шам и аль-Кудс, Джинн сомневался, что они были даже в половину так велики и удивительны, как этот Нью-Йорк. Раз уж он оказался заброшен в незнакомое место, окруженное смертельно опасным океаном, и при этом заключен в единственном слабом и несовершенном облике, остается радоваться одному: это место, несомненно, стоит того, чтобы его изучить.

Стоящий неподалеку Арбели видел, как металлическая ограда сперва докрасна раскалилась, а потом остыла под руками Джинна. Казалось невероятным, что подобное происходит посреди города, а люди вокруг, ничего не ведая, продолжают спокойно заниматься своими делами. Ему хотелось схватить ближайшего пешехода за воротник и закричать: «Смотрите на этого человека! Он вовсе не человек! Смотрите, что он сделал с перилами!» Более верный способ попасть в сумасшедший дом вряд ли можно было найти.

Через широкую полосу залива он посмотрел на город и попробовал увидеть его глазами Джинна. Интересно, что бы он сам почувствовал, если бы, проснувшись, обнаружил, что проспал тысячу лет? От одного этого можно обезуметь. А этот стоит, выпрямив спину, и хмуро смотрит на воду. И не выказывает никаких признаков безумия. Грязные старые тряпки малы ему и смехотворно не соответствуют его лицу и фигуре. Они словно сами стыдятся своего убожества. Джинн повернулся спиной к воде и уставился на дома, теснящиеся за границей парка. Только тут Арбели заметил, что он дрожит с головы до ног.

Джинн сделал шаг от перил, и вдруг его колени подогнулись – и он начал падать. Арбели едва успел подхватить его.

– Ты болен?

– Нет, – пробормотал Джинн, – замерз.

Они двинулись обратно в мастерскую, и всю дорогу Арбели то поддерживал, то практически нес на себе своего нового знакомого. Когда они вошли в дом, Джинн, спотыкаясь, добрался до кузнечного горна и свалился рядом с ним на пол, прижавшись к горячей стенке. Скоро начала тлеть его взятая в займы рубаха, но он, казалось, даже не заметил этого. Он закрыл глаза. Вскоре озноб прекратился, и Арбели решил, что его гость уснул.

Со вздохом он оглядел свою мастерскую. На полке стоял медный кувшин, но пока мастеру не хотелось даже думать о нем. Сейчас ему подошла бы какая-нибудь нетрудная работа, тихая и монотонная. Он нашел чайник с дыркой в доньшке, принесенный владельцем местного ресторана. Отлично, это то, что надо. Залатать дырку в чайнике он мог даже во сне. Из листа металла он вырезал заплатку нужного размера, нагрел и ее, и сам чайник и приступил к работе.

Время от времени Арбели посматривал на своего гостя и гадал, что случится, когда тот проснется. Даже неподвижный и спящий, Джинн излучал какую-то странную энергию, словно он был не вполне реальным или, наоборот, единственной реальностью во всей этой комнате. Наверное, и другие люди сразу же это почувствуют, но вряд ли они догадаются, в чем дело. Молодые матери в Маленькой Сирии все еще надевали на запястья своих малышек браслеты из железных бусин и делали особые жесты от сглаза, но больше из суеверия или по привычке, а не из-за настоящего страха. Их новый мир был очень далек от того, что сохранился только в бабушкиных сказках, – по крайней мере, так они думали.

Уже не в первый раз Арбели пожалел, что у него нет друга, которому он мог бы доверить даже самую невероятную тайну. Но в их замкнутой сирийской общине Бутрос Арбели всегда оставался немного чужаком, отшельником, которому вполне хватало общества его кузнечного горна. Он совершенно не умел поддерживать разговор о пустяках и на свадьбах или поминках в одиночестве сидел за столом, рассматривая штампы изготовителя на столовых приборах. Соседи тепло здоровались с ним, встретив на улице, но никогда не останавливались поболтать. У него было много знакомых и мало друзей.

Когда Арбели жил в Захле, все обстояло примерно так же. В семье, состоящей из женщин, он был единственным мальчиком, тихим и мечтательным. Кузнецом он стал по счастливой случайности. Однажды мать послала его с каким-то поручением, и по дороге он остановился у местной кузницы и, словно зачарованный, долго смотрел на большого потного человека, превращающего лист железа в ведро. Именно это преобразование поразило его: из бесполезного – в полезное, из ничего – во что-то. На следующий день он вернулся и опять долго наблюдал за кузнецом, а потом приходил снова и снова, пока тот, измученный этой постоянной слезкой, не взял его в ученики. Скоро работа заполнила жизнь Арбели настолько, что в ней не осталось места ни для чего другого. В глубине души он понимал, что когда-нибудь, наверное, женится и заведет семью, а пока его все устраивало и он ничего не хотел менять.

Но теперь, глядя на распростертую перед горном неподвижную фигуру своего гостя, Арбели понимал, что большие перемены неизбежны. Такое же предчувствие перемен овладело им, когда он, не достигнув еще и семи лет, услышал через открытое окно страшный крик матери, узнавшей, что ее муж погиб по дороге в Бейрут от рук бандитов. Сейчас, как и тогда, он ясно видел, как перед лицом чего-то большого и нового путаются, рвутся и меняются местами нити его жизни.

– Что это ты делаешь?

Арбели вздрогнул. Джинн лежал по-прежнему неподвижно, но глаза его были открыты. Интересно, давно ли он наблюдает за ним?

– Лужу чайник, – ответил мастер. – Хозяин забыл его на огне.

Джинн наклонился к чайнику.

– А что это за металл? – спросил он.

– Тут два металла, – объяснил Арбели. – Сталь, покрытая оловом. – Он нашел на столе кусочек металла и протянул его Джинну, указав на слои: – Видишь? Олово, сталь, олово. Олово слишком мягкое, чтобы использовать его в чистом виде, а сталь ржавеет. Но если использовать их вместе, металл получится прочным и гибким.

– Понятно. Ловко придумано. – Он сел на полу и протянул руку к чайнику. – Можно мне попробовать?

Арбели протянул ему чайник, и Джинн внимательно осмотрел его, крепко держа в руках, которые давно уже перестали дрожать.

– Наверное, главная сложность в том, чтобы сделать края заплатки как можно тоньше, но при этом не обнажить сталь, – задумчиво произнес он.

– Да, именно так, – подтвердил удивленный Арбели.

Джинн положил руку на дно чайника, подержал так немного, а потом начал осторожно тереть края заплатки. На глазах пораженного Арбели ее очертания начали исчезать.

Когда гость вернул ему чайник, его доньшко выглядело совершенно как новое.

– У меня есть к тебе предложение, – сказал Джинн.

* * *

В пустыне весенние дожди начинаются без предупреждения. Наутро после того, как Джинн расстался с караваном около Гуты, небо покрылось тучами и на землю упали сначала первые робкие капли, а потом хлынул настоящий ливень. Пересохшие русла рек и канавы наполнились водой. Джинн смотрел на дождь, струящийся по стенам его дворца, и злился. Прямо с утра он собирался отправиться в поселение джиннов, а теперь ему придется ждать.

Он бесцельно бродил по комнатам, изучал золотые и серебряные узоры на стенах, кое-где вносил ненужные изменения. Мысленно он все еще шел за караваном, прислушивался к чужим разговорам, приглядывался к жестам. Он вспоминал песню старого погонщика о бедуинах. Неужели ее герои действительно были так храбры, а их женщины так прекрасны? Или все они существовали лишь в старых полузабытых легендах?

Три дня дождь то затихал, то усиливался снова, и три дня Джинн провел в вынужденном заточении, приводившем его в бешенство. Будь он свободен, он бы, наверное, понесся к самому краю земли, чтобы усталость прогнала из головы все мысли о мире людей. Или, как собирался, отправился бы в поселение джиннов, где прошла его юность. Но когда тучи отдали земле всю накопившуюся в них влагу и Джинн смог выйти наружу в чисто вымытый мир, он обнаружил, что все мысли о возвращении к сородичам испарились вместе с дождем.

3

Голему хватило нескольких часов в Нью-Йорке, чтобы затосковать по относительной тишине и спокойствию на парохоме. Шум на улицах стоял невыносимый, а еще худший гвалт царил у нее в голове. Поначалу он почти парализовал ее, и она в ужасе забилась под какой-то навес, но и там ее настигали горестные мысли уличных торговцев и мальчишек-газетчиков, звучащие даже громче, чем их пронзительные голоса: *пора платить за квартиру, отец поколотит меня, ради бога, кто-нибудь, купите эту капусту, пока она совсем не испортилась*. Ей хотелось зажать уши руками. Если бы у нее были деньги, она раздала бы их все только для того, чтобы утих этот шум.

Прохожие удивленно оглядывались, замечая ее грязное платье, нелепую мужскую куртку и испуганный взгляд. Женщины хмурились, некоторые мужчины ухмылялись. Один из них, сильно пьяный, подмигнул ей и приблизился. Его мысли были затуманены похотью, а она, к своему удивлению, вдруг поняла, что существует желание, которое ей совсем не хочется исполнять. Она брезгливо отпрянула от него, побежала через дорогу и едва не попала под трамвай, вывернувшийся из-за угла. Проклятия водителя еще долго летели ей вслед.

Несколько часов она бесцельно бродила по улицам, на перекрестках поворачивала, не запоминая дороги. День был жаркий и влажный, и город удушающе вонял смесью навоза и гниющего мусора. Ее платье совсем высохло, и речной ил отваливался от него хлопьями. Прохожие задыхались от жары, и ее теплая шерстяная куртка выглядела несуразно. Ей и самой было жарко, но она не очень страдала от этого – просто движения стали замедленными, словно она опять брела под водой.

Все вокруг было новым, непонятным и как будто бесконечным. Она была потрясена и напугана, но неумное любопытство оказалось сильнее страха и гнало ее все дальше. Она заглянула в мясную лавку, пытаясь понять, что означают эти ощипанные птицы, связки сосисок и свисающие с крюков продолговатые красные туши. Мясник заметил женщину и двинулся было в ее сторону, но она коротко улыбнулась ему и поспешила прочь. Мысли прохожих роились у нее в голове, но она не находила в них ответов – одни вопросы. Например, почему им всем так нужны деньги? И вообще, что такое деньги? Она думала, это просто монеты, передаваемые из рук в руки, но они так часто присутствовали в чужих мыслях, смешанные с желаниями, страхами и надеждами, что она заподозрила тут какую-то тайну, в которой еще предстояло разобраться.

Переплетение улиц привело ее в более уважаемый район, где в витринах магазинов были выставлены платья и туфли, шляпы и украшения. Перед витриной модной лавки она остановилась, чтобы поглазеть на огромную невыносимую шляпу, красующуюся на специальной подставке: широкая лента вдоль тульи была украшена блестящей сеткой, искусственными цветами и гигантским страусовым пером. Словно зачарованная, она наклонилась поближе к витрине, положила на нее руку, и тонкое стекло вдруг разлетелось вдребезги.

Спасаясь от града осколков, она отскочила к краю тротуара. В магазине две хорошо одетые женщины с ужасом смотрели на нее, прижимая ладони ко рту.

– Простите, – прошептала Голем и побежала.

Теперь она испугалась по-настоящему и неслась по переулкам и оживленным улицам, стараясь только не врезаться во встречных прохожих. Одни кварталы сменяли другие, и все они были разными. Неопрятного вида покупатель и сердитые торговцы обменивались оскорблениями на дюжине разных языков. Мальчишки, еще недавно игравшие на тротуаре в мяч, и малолетние чистильщики обуви, зажавшие под мышкой свои орудия труда, спешили домой и мечтали о вкусном ужине.

Обилие новых впечатлений притупляло ее чувства и туманило мысли. Она шла на восток, куда указывали сгущающиеся тени, и скоро оказалась в районе, непохожем на соседние: здесь не было такого хаоса на улицах и люди казались более степенными. Продавцы опускали маркизы над окнами и запирали свои магазины. Бородатые мужчины парами ходили по тротуарам и о чем-то серьезно беседовали. Женщины, остановившись на углу, болтали с товарками; в руках у них были перевязанные бечевкой пакеты, а за подолы цеплялись дети. Все они говорили на том же языке, на котором она разговаривала с Ротфельдом и который знала с того момента, как впервые открыла глаза. После сегодняшней круговерти языков и слов услышать его снова было приятно.

Женщина замедлила шаг и огляделась. Она стояла у крыльца высокого дома. Весь день ей попадались на глаза мужчины и женщины, старые и молодые, сидящие на точно таких же ступенях. Она подобрала юбку и села. Нагретый за день камень был еще теплым. Она разглядывала лица входящих и выходящих людей. Они шли погруженные в себя, ничего не замечая вокруг, измученные и отрешенные. Начали возвращаться с работы мужчины с печатью усталости на лицах и с голодом в животах. Из их мыслей она знала все о блюдах, ожидающих их дома: толстые куски черного хлеба, намазанные смальцем, селедка и маринованные огурцы, кружки водянистого пива. Знала об их надеждах на прохладный ветерок и хороший ночной отдых.

Одиночество, будто физическая усталость, обволакивало женщину и вытягивало из нее силы. Она понимала, что не может сидеть на крыльце вечно и рано или поздно должна будет уйти, но пока ей казалось проще оставаться здесь. Она положила голову на кирпичную балюстраду. Пара маленьких коричневых птичек прыгала в пыли у самого крыльца, нисколько не опасаясь проходящих мимо ног. Одна из них вспорхнула на ступеньку и оказалась совсем рядом. Несколько раз острым клювиком она ударила теплый камень, а потом неожиданно подскочила и села Голему на колено.

Женщина удивилась, но осталась неподвижной; птичка прыгала по ее бедру, склевывая с юбки остатки речного ила. Маленькие коготки царапали кожу через тонкую ткань. Очень, очень медленно женщина протянула руку, и птичка села ей на ладонь. Другой рукой она осторожно погладила мягкие перышки у нее на спинке, почувствовала, как бьется крошечное сердечко. Женщина улыбнулась, а птичка наклонила голову набок и посмотрела на нее круглым немигающим взглядом, а потом несколько раз клюнула ее пальцы, будто они были просто кусками земли. Еще несколько секунд они рассматривали друг друга, а потом птичка улетела.

Удивленная женщина посмотрела ей вслед и обнаружила пожилого мужчину, наблюдающего за ней из-за угла овощной лавки. Он, как и она, был одет не по погоде – в черное шерстяное пальто. Из-под пальто выглядывал край белой ленты. Седая борода была аккуратно подстрижена, а лицо под полями шляпы изрезано глубокими морщинами. Он смотрел на нее совершенно спокойно, но в его мыслях явственно слышался страх: *Неужели она и вправду то, что я думаю?*

Голем поспешно встала и, не оглядываясь, пошла прочь. На пути ей встретилась толпа мужчин и женщин, только что вышедших со станции «Вторая авеню», и она постаралась смешаться с ними. Вместе они пошли вперед по улице, но постепенно толпа редела: люди сворачивали в переулки или заходили в двери домов. Наконец, завернув за угол, она осмелилась оглянуться. Мужчины в черном пальто не было видно.

Успокоившись, она вернулась на улицу и пошла дальше на восток. Здесь воздух опять пах морем, солью, угольным дымом и машинным маслом. Большинство лавок уже было закрыто, а торговцы с тележек упаковывали свой товар: подтяжки и дешевые брюки, кастрюли и сковородки. Что она будет делать ночью? Наверное, найдет какое-нибудь безопасное место и станет ждать утра.

Вдруг, словно удар ножом, ее пронзил чей-то непереносимый голод. Смуглый чумазый мальчишка стоял на краю тротуара, не сводя глаз с торговца, потеющего над своим лотком.

Какой-то человек в рубашке протянул ему монету. Торговец отвернул прикрывающий лоток лист пергамента и вытащил наружу кусок теста размером со свой кулак. Мужчина впился в пирожок зубами и, замахав ладонью перед обожженным ртом, двинулся в ее сторону. Голод мальчика сделался еще острее и мучительнее.

Если бы мальчик не был таким голодным, если бы мужчина не проходил так близко и, главное, если бы все пережитое за день не притупило ее чувства осторожности, возможно, она смогла бы сдержаться и уйти прочь. Но ей не повезло. Голод мальчика одолел ее. Ведь еда нужна ему куда больше, чем этому здоровяку.

Еще не успев додумать эту мысль, она вырвала пирожок из пальцев мужчины и протянула мальчику. Через секунду тот уже несся по улице со всей скоростью, на которую был способен.

Мужчина схватил ее за руку.

– Я не понял, ты что это сделала?! – рявкнул он.

– Простите, – начала она и хотела все объяснить, но он уже побагровел от ярости:

– Воровка! Ты за это заплатишь!

На них начали оглядываться. Какая-то старуха подскочила к мужчине.

– Я все видела! – сообщила она, свирепо глядя на Голема. – Она стащила ваш книш и отдала его мальчишке. Что скажешь, деваха?

Женщина испуганно огляделась. Вокруг них уже начала собираться толпа из желающих знать, чем все это кончится.

– Пусть платит! – выкрикнул кто-то.

– У меня нет денег, – пролепетала она.

По толпе пробежал мстительный смех. Они жаждали скандала и жестокой кары для преступницы, их сердитые желания летели в нее, будто брошенные камни.

На минуту женщину охватила паника, но потом так же быстро отпустила. Казалось, время замедлилось и растянулось. Цвета сделались ярче и контрастней, а заходящее вечернее солнце сияло, как в полдень. «Зовите полисмена!» – крикнул кто-то, и чужая речь показалась ей замедленной и неясной. Она закрыла глаза, чувствуя себя будто на краю бездонной пропасти, в которую вот-вот свалится.

– В этом нет необходимости, – послышался чей-то голос.

Внимание толпы мгновенно сместилось, и пропасть перестала казаться такой уж бездонной. Голем перевела дух и открыла глаза.

Это был тот старик в черном пальто, который наблюдал за ней из-за угла овощной лавки. Он быстро приближался к ней с озабоченным лицом, раздвигая толпу.

– Этого достаточно за ваш книш? – спросил он, вручая здоровяку монету. Потом медленно, чтобы не напугать, он взял женщину за локоть. – Пойдем со мной, милая. – Его голос оказался мягким, но твердым.

Разве у нее был выбор? Либо он, либо распаленная толпа. Нерешительно она сделала шаг туда, куда тянул ее старик. Здоровяк тем временем озадаченно рассматривал монету.

– Здесь слишком много, – буркнул он.

– Тогда пустите оставшиеся деньги на какое-нибудь доброе дело, – посоветовал старик.

Толпа, лишённая развлечения, начала неохотно расходиться. Скоро женщина и старик остались на тротуаре вдвоем. Он еще раз внимательно посмотрел на нее, потом наклонился поближе и вроде бы даже понюхал воздух вокруг нее.

– Так я и думал, – огорченно проговорил он. – Ты голем.

В ужасе она отпрянула и уже собралась бежать.

– Нет, пожалуйста, не надо, – торопливо сказал старик. – Пошли со мной, тебе нельзя просто так бродить по улицам. Кто-то еще может догадаться.

Бежать или остаться? Он все-таки спас ее и совсем не казался сердитым – просто озабоченным.

– Куда мы пойдем? – спросила она.

– Ко мне домой. Это недалеко.

Женщина не знала, стоит ли ему доверять, но он был прав: она не может бродить по улицам вечно. Она решила довериться. Надо ведь доверять хотя бы кому-то.

– Хорошо, – кивнула она.

Они пошли по улице в ту сторону, откуда она пришла.

– Скажи мне, – повернулся к ней старик, – где твой хозяин?

– Он умер в море два дня назад. Мы плыли из Данцига.

– Какое несчастье, – покачал головой старик, и она не поняла, относится это к смерти Ротфельда или ко всей ситуации в целом. – Значит, раньше ты жила в Данциге?

– Нет, раньше я вообще не жила. Хозяин оживил меня уже в море, как раз перед самой своей смертью.

Это удивило его.

– Ты хочешь сказать, что тебе всего два дня от роду? Поразительно. – Он свернул за угол, и женщина последовала за ним. – И как же ты прошла формальности на острове Эллис? Сама?

– А я там не была. Офицер на пароходе начал задавать мне вопросы, потому что у меня не было документов. И я просто прыгнула в воду.

– Похоже, ты довольно сообразительна.

– Я не хотела, чтобы они меня забрали.

– Понятно.

Они все шли назад по тем улицам, которые она уже видела. Солнце давно спряталось за домами, но небо было все еще светлым и распаленным после целого дня жары. Из домов начали снова появляться дети, поужинавшие и предвкушающие последнее перед сном приключение.

Мужчина шел молча. Она подумала, что даже не знает его имени, но не решилась спросить – так глубоко он ушел в свои мысли. Женщина их чувствовала и знала, что во всех присутствует она. *Что же мне делать с ней?* Вдруг, будто в свете молнии, она увидела себя, поверженную, превратившуюся в бесформенную кучку грязи и глины посреди мостовой.

Она резко остановилась и замерла. Но вместо паники ею овладела глубокая, безнадежная усталость. Может, так будет лучше. Все равно для нее нет ни места, ни смысла в этой жизни.

Старик заметил, что ее больше нет рядом, и в тревоге обернулся:

– В чем дело?

– Ты знаешь, как меня уничтожить.

Пауза.

– Да, – наконец осторожно признался он, – знаю. В наши дни мало кто владеет этим умением. А откуда тебе это известно?

– Я увидела это в твоих мыслях. Ты об этом думал. Ты этого даже хотел несколько мгновений.

Старик озадаченно нахмурился, а потом невесело рассмеялся.

– Кто тебя сделал? – спросил он. – Твой покойный хозяин?

– Нет, я не знаю, кто меня сделал.

– Он, несомненно, был очень искусен, умен и совершенно безнравствен. – Он тяжело вздохнул. – Ты умеешь чувствовать чужие желания?

– И страхи, – добавила она. – С тех пор, как умер мой хозяин.

– Ты поэтому украдал книжки? Для того чумазого паренька?

– Я не хотела красть, – объяснила она. – Просто он был очень голоден.

– И ты не смогла противостоять его желанию, – закончил он, а она кивнула. – Этим надо будет заняться. Возможно, после некоторой тренировки... Ну ладно, это может подождать. Сейчас надо решить более простые вопросы, например с твоей одеждой.

– Значит... вы не станете уничтожать меня?

Он покачал головой:

– Человек может пожелать чего-нибудь на миг и тут же отказаться от этого желания. Тебе надо научиться судить о людях по их делам, а не по мыслям.

Немного поколебавшись, она заговорила снова.

– Вы единственный, кто был со мной добр после смерти хозяина. Если вы думаете, что лучше меня уничтожить, я не стану противиться.

Старик, казалось, был поражен ее словами.

– Неужели эти два дня на земле оказались для тебя такими трудными? Да, думаю, так оно и было. – Он ласково положил руку ей на плечо; его глаза были совсем черными, но добрыми. – Я – раввин Авраам Мейер, – представился он. – Если хочешь, я возьму тебя под свою защиту и стану твоим наставником. Я дам тебе дом, научу, чему смогу, и вместе мы решим, что делать дальше. Согласна?

– Да, – с облегчением ответила она.

– Ну и хорошо. Тогда пошли, мы уже почти дома.

Равви Авраам Мейер жил в одном из многих почти одинаковых многоквартирных домов с фасадом, потемневшим от грязи и копоти. Вестибюль был темным и тесным, но чистым; ступени протестующе скрипели у них под ногами. Женщина заметила, как тяжело дышит ее спутник, поднимаясь по лестнице.

Его квартира располагалась на пятом этаже. Прямо из узкой прихожей дверь вела в тесную кухню с раковиной, плитой и холодильным ящиком. На веревке над раковиной сохли носки. Грязное белье, ожидающее стирки, лежало кучей на полу. На плите стояла стопка невымытых тарелок.

– Я не ждал гостей, – смущенно объяснил равви.

В спальне хватило места только для кровати и шкафа. К кухне примыкала маленькая гостиная с большим окном и мягким глубоким диваном, обитым выцветшим зеленым бархатом. Рядом стоял маленький деревянный столик и два стула. Вдоль одной стены выстроились шеренги книг со старыми, потрескавшимися корешками. Другие книги были сложены в высокие шаткие стопки прямо на полу.

– У меня немного имущества, – сказал старик, – но мне хватает. Пока это будет и твой дом.

Женщина стояла посреди гостиной, не решаясь испачкать диван своим грязным платьем.

– Спасибо, – сказала она и вдруг заметила окно.

Снаружи уже стемнело, и освещавшие гостиную газовые лампы отражались в стекле. Она увидела в нем фигуру молодой женщины, словно наложенную на здание напротив. Она чуть приподняла и потом опустила руку, и женщина в окне сделала то же самое. Словно зачарованная, Голем приблизилась к ней.

– Да, – прошептал равви, – ты ведь еще ни разу не видела себя.

Женщина внимательно изучала отражение собственного лица, провела руками по волосам, слипшимся после купания в реке. Слегка потянула одну прядь. Что будет с ними дальше: отрастут ли они или навсегда останутся одной длины? Языком она пробежала по зубам, потом вытянула вперед руки. Ногти были короткие и квадратные. На левом указательном пальце ноготь рос немного косо. Интересно, кто-нибудь, кроме нее, когда-нибудь заметит это?

Равви наблюдал за тем, как Голем изучает себя.

– Твой создатель был очень талантлив, – заметил он, но в его тоне ей послышалась нотка осуждения.

Она опять взглянула на свои пальцы. Ногти, зубы и волосы были определенно сделаны не из глины.

– Надеюсь, – сказала она, следя за движением собственного рта, – никто не пострадал, когда он создавал меня.

– Я тоже на это надеюсь, – печально улыбнулся равви. – В любом случае что сделано – то сделано, и ты ни в чем не виновата. А сейчас мне надо выйти купить тебе какую-нибудь чистую одежду. А ты пока располагайся здесь. Я скоро вернусь.

Оставшись одна, она какое-то время еще изучала свое отражение в стекле, а потом задумалась. Что, если бы равви не пришел ей на помощь? Что было бы с ней тогда? Она стояла посреди разъяренной толпы и чувствовала, что мир распадается на части, что ей предстоит шагнуть в... Куда? Она не знала. Но в тот момент она была спокойна. Почти безмятежна. Как будто все беспокойства и горести должны вот-вот оставить ее. Вспомнив об этом, она вздрогнула от страха, причин которого и сама не понимала.

Было уже поздно, и большинство магазинов закрылись, но равви знал, что в районе Бауэри найдется пара работающих лавок, где ему охотно продадут женское платье и что-нибудь из белья. Вообще-то, такие расходы были ему не по карману: помимо маленькой пенсии от своей бывшей общины, он жил только на то, что зарабатывал, обучая ивриту мальчиков, готовящихся к бар-мицве. Но делать нечего. С опаской он углубился в сомнительный район, стараясь держаться подальше от пьяных мужчин и от женщин, ожидающих клиентов у опор надземки. На Малберри-стрит нашелся открытый магазин женской одежды, и он приобрел в нем блузку с длинными рукавами, юбку, халат, сорочку, панталоны и чулки с подвязками. Поколебавшись, равви добавил к покупкам и ночную рубашку. Конечно, для сна она голему не понадобится, но в этом магазине он чувствовал себя очень неловко и был совсем сбит с толку; кроме того, не может же она носить халат прямо на голое тело. Продавец с осуждением смотрел на его черное длинное пальто, но деньги принял охотно.

Взяв перевязанный бечевкой пакет с покупками, равви в глубокой задумчивости отправился обратно. Конечно, непросто будет жить с кем-то, кто читает все твои желания как открытую книгу. Начнешь то и дело одергивать себя: «Не думай об этом» – и в конце концов дойдешь до мании преследования. Значит, придется быть совершенно честным с собой и с ней, ничего не бояться и ничего не скрывать. Этому надо будет учиться. Но любая попытка что-то скрыть или смягчить окажет ей плохую услугу. Большой мир жесток, и ей надо привыкнуть к этому.

Решение пригласить ее под свой кров еще будет иметь очень и очень большие последствия, он знал это с того самого момента, когда понял, кто она такая, и решил сохранить ей жизнь. Равви Авраам Мейер, уже десять лет вдовствующий и бездетный, готовил себя к спокойной и одинокой старости и мирной кончине. Но всемогущий Господь, похоже, задумал для него нечто другое.

* * *

Бутрос Арбели открыл дверь в тесной прихожей и шагнул в сторону, приглашая гостя войти:

– Ну вот – мой дворец. Невелик, конечно, но все равно будь здесь гостем, пока не найдем тебе другого жилья.

Джинн настороженно заглянул внутрь. «Дворец» Арбели оказался крошечной темной комнатухой, где с трудом помещались кровать, маленький шкаф и полукруглый столик, придвинутый вплотную к почерневшей раковине. Старые обои тут и там отставали от стен. Правда, пол оказался неожиданно чистым: в честь своего гостя Арбели запихал все грязное белье в шкаф и не без труда запер дверцу.

Разглядывая эту конуру, Джинн почувствовал такой острый приступ клаустрофобии, что с трудом заставил себя перешагнуть порог.

– Арбели, но эта комната не годится для двоих. Тут и одному-то тесно.

Они были знакомы чуть больше недели, и Арбели уже понимал: для того чтобы их договор мог осуществиться, ему придется мириться с некоторой бесцеремонностью, если не сказать высокомерием, своего гостя.

– А зачем мне больше? – пожал он плечами. – Все дни я провожу на работе, а сюда прихожу только спать. – Жестом разделив комнату пополам, он продолжал: – Натянем поперек простыню, поставим раскладушку. И тебе больше не придется спать в мастерской.

Джинн взглянул на Арбели так, словно тот сказал что-то оскорбительное:

– Я и не сплю в мастерской.

– А где же ты тогда спишь?

– Арбели, я вообще не сплю.

Жестящик открыл рот. Такое даже не приходило ему в голову. Вечерами, отправляясь домой, он оставлял Джинна за работой: тот терпеливо осваивал тонкости лужения. Возвращаясь утром, он опять заставал его за работой. В кладовке валялся соломенный матрас, на котором сам Арбели ночевал, когда у него не было сил дойти до дому, и он считал, что Джинн спит на нем же.

– Что значит – не спишь? Совсем не спишь?

– Совсем, и очень этому рад. Такая бессмысленная трата времени.

– А мне нравится спать, – горячо возразил Арбели.

– Это потому, что ты устаешь.

– А ты не устаешь?

– Совсем не так, как ты.

– Если бы я не спал, то не видел бы снов, – задумчиво проговорил Арбели и нахмурился. –

Ты хоть знаешь, что такое сны?

– Да, я знаю, что такое сны. Я умею в них проникать.

– Проникать в сны? – побледнел Арбели.

– Да, это очень редкий дар. Им владеют только высшие кланы джиннов. – И опять Арбели уловил этот легкий оттенок превосходства. – Но я могу проникать в чужие сны, только когда нахожусь в своем истинном облике. Так что можешь не волноваться – твоим снам ничего не грозит.

– Ну что ж, все равно добро пожаловать в мое...

– Арбели, я не хочу здесь ни жить, – раздраженно прервал его Джинн, – ни спать. Пока я лучше останусь в мастерской.

– Но ты же сам говорил... – Арбели замолчал, не желая продолжать.

«Я сойду с ума, если ты будешь держать меня в этой клетке», – эти недавние слова Джинна показались жестянику обидными. Чтобы их план осуществился, надо было скрывать Джинна от чужих взглядов до тех пор, пока он не освоит ремесло настолько, чтобы сойти за подмастерье. А потому весь день ему приходилось прятаться в темном чулане при мастерской, таком же крошечном, как и спальня жестящика. Арбели понимал, как страдает от этого Джинн, но все-таки обидно, когда тебя считают тюремщиком.

– Наверное, и мне бы не понравилось всю ночь сидеть в комнате и смотреть на спящего, – признал он.

– Вот именно. – Джинн присел на краешек кровати и еще раз огляделся. – И ведь правда, Арбели, тут просто ужасно!

Вид у него был до того удрученный, что Арбели не выдержал и рассмеялся.

– По-моему, здесь совсем неплохо, – сказал он. – Просто ты привык к другому.

– Да, я привык к другому. – Джинн задумчиво потер браслет на запястье. – Представь себе, что ты спишь и видишь свои человеческие сны, а потом просыпаешься в совершенно незнакомом месте. Руки и ноги у тебя скованы, а сам ты привязан к вбитой в землю палке. Ты даже не представляешь, кто и как сотворил это с тобой. Не знаешь, сможешь ли когда-

нибудь освободиться. Ты находишься так далеко от дома, что и вообразить невозможно. А потом какое-то странное существо находит тебя и восклицает: «Ну надо же, это ведь Арбели! А я-то думал, что они бывают только в сказках! Надо пока тебя спрятать, а потом ты притворишься одним из нас, чтобы люди не пугались».

– Выходит, ты считаешь меня странным существом? – нахмурился Арбели.

– Ты вообще не понял, о чем я говорю. – Джинн откинулся на спину и уставился на потолок. – Но да, это так. Люди кажутся мне странными существами.

– Ты жалеешь нас. В твоих глазах мы слабы и несвободны.

Джинн задумался ненадолго.

– Вы так медленно двигаетесь, – наконец сказал он.

Они помолчали, потом Джинн вздохнул:

– Арбели, я обещал не выходить из мастерской, пока ты не скажешь, что пора, и я сдержал обещание. Но я говорил тебе правду. Если я в ближайшее время не найду средства хотя бы частично вернуть себе свободу, я действительно сойду с ума.

– Прошу тебя, – взмолился Арбели, – еще несколько дней. Если мы хотим, чтобы все получилось...

– Да-да, я знаю. – Джинн встал и подошел к окну. – Но во всей этой истории у меня есть только одно утешение – то, что судьба забросила меня в такое место, подобное которому я даже вообразить себе не мог. И я намерен этим воспользоваться.

Тысяча пустых предостережений готова была сорваться с губ Арбели: опасности, подстерегающие чужака на ночных улицах, шайки головорезов, непотребные дома и притоны для курильщиков опиума. Но он посмотрел на Джинна, с тоской глядящего в окно на убегающие в бесконечность крыши, представил, каким слабым и несвободным тот кажется самому себе, и только вздохнул:

– Пожалуйста, будь осторожен.

По сравнению с удушающей теснотой в спальне Арбели, мастерская казалась почти просторной. Оказавшись в одиночестве, Джинн сел за стол, отмерил нужное количество олова и канифоли. С оловом приходилось обращаться особенно осторожно: если он слишком долго держал его в руках, оно просто таяло. Арбели терпеливо обучал его пайке, но, когда за дело брался Джинн, олово просто стекало со шва каскадом мелких капель. После нескольких попыток у него начинало получаться, но терпение для этого требовалось бесконечное. Насколько проще было бы просто загладить припой пальцем, но как раз этого делать и не следовало.

Больше всего раздражало то, что приходилось постоянно обуздывать единственный сохранившийся у него дар. Никогда раньше он не задумывался о способностях, которыми владел, пребывая в своем истинном облике. Если бы он мог предвидеть, что когда-нибудь лишится их, то, вместо того чтобы гоняться за караванами, проводил бы все время, исследуя себя. Взять хотя бы умение проникать в чужие сны, которым он, кажется, почти не пользовался.

Этой способностью, как и многими другими, разные кланы джиннов были наделены в разной степени. Примитивные гули или ифриты целиком овладевали телом человека, делая это из озорства, злобы или мелочной мести. Одержимый джинном человек на время превращался в беспомощную куклу и оставался таким до тех пор, пока джинну не надоедала эта жестокая игра. Жертве мог быть нанесен непоправимый вред, а иногда она погибала, не справившись с шоком. Случалось, что джинн застревал в чужом сознании и уже не мог самостоятельно выбраться, что кончалось безумием для него и для жертвы. Человек мог считать себя счастливым, если в таком случае рядом оказывался опытный шаман или волшебник, умеющий изгонять бесов. Однажды Джинну довелось видеть своего младшего собрата, перенесшего подобную операцию. Обгоревшее, искореженное тело дергалось между тлеющими вет-

вями чахлого деревца, внушая одновременно отвращение и жалость. С тех пор Джинн всегда старался подальше облетать это место.

Дар самого Джинна был куда тоньше, и ему не требовалось полностью овладевать душой и телом жертвы. Находясь в своем истинном облике, он мог безболезненно проникать в чужое сознание и наблюдать его изнутри, не будучи замеченным. Правда, это было возможно, лишь когда объект его изучения находился в царстве сна и не мог противиться вторжению. Всего несколько раз Джинн испытывал эту свою способность, и только на животных. Так он узнал, что сны змей состоят из вибраций и запахов; их длинные тела плотно прижаты к земле, а языки то и дело высовываются, пробуя воздух вокруг. Шакалы в своих желтых, красных и охряных снах заново переживают дневную охоту, отчего дергаются их лапы и щелкают челюсти. Проведя несколько таких опытов, Джинн решил больше не экспериментировать: все это было забавно, но потом он какое-то время чувствовал себя растерянным, сбитым с толку и не без труда возвращался к подлинному себе.

И никогда он не пытался проникнуть в сны человека. Ходили слухи, что они опасны и полны меняющихся зыбких картин, что в них легко заблудиться и застрять навсегда. Волшебники, предостерегали старшие, могут намеренно заманить джинна в лабиринт грез, там запутать и превратить в раба. Безумием было бы даже думать об этом, твердили они. Джинн был уверен, что старики, как всегда, преувеличивают опасность, но предпочитал не рисковать, даже когда в конце дневного пути все караванчики засыпали мертвым сном.

Жалел ли он об этом сейчас, когда лишился способности заглядывать в чужие сны? Возможно, но вряд ли он многое потерял. В конце концов, размышлял он, отмеряя очередную порцию олова, теперь он проводит в человеческом обществе так много времени, что и без снов знает о них вполне достаточно.

* * *

Весенние дожди прошли, щедро напоив склоны песчаных холмов в Сирийской пустыне. Скалы, долины и даже колючки покрылись нежной россыпью белых и желтых бутонов.

Джинн проплывал над своей долиной, любясь этой новой красотой. Дожди смыли пыль с его дворца, и тот весь сверкал, как драгоценность. И он собирался оставить все это, ради того чтобы вернуться к другим джиннам? Зачем? Здесь его место, его дворец и его долина, теплое весеннее солнце и первые цветы.

Но мысль о новой встрече с людьми уже овладевала его сознанием. Он знал, что неподалеку от дворца находится небольшая стоянка бедуинов. Он не раз замечал их костры, стада овец и людей верхом на лошадях, но пока предпочитал не приближаться. Сейчас ему захотелось узнать, чем эти люди отличаются от тех, что странствуют с караванами. Возможно, ему стоит, оставаясь на месте, понаблюдать за их жизнью. Но стоит ли ограничивать себя наблюдением со стороны, когда ему доступно и более интимное проникновение?

Какое-то движение внизу привлекло его внимание. словно в ответ на его мысли на гребне холма показалась юная девушка-бедуинка. Она пасла небольшое стадо коз, и все ее движения, как и этот солнечный день, были полны свежей весенней энергией.

Повинуясь внезапному импульсу, Джинн опустил на парапет своего дворца и прикоснулся рукой к голубоватому стеклу.

Девушка на вершине холма вдруг замерла, увидев прямо перед собой сверкающее чудо.

Потом она развернулась и, гоня перед собой коз, со всех ног припустилась к дому. Джинн улыбнулся и задумался о том, какие сны могут сниться столь юному существу.

4

Шли дни, недели, и постепенно Голем и равви Мейер учились жить рядом друг с другом.

Им приходилось нелегко. Комнаты в квартире были маленькими и тесными, а сам равви уже давно привык к одиночеству. Конечно, ему и раньше приходилось жить бок о бок с другими людьми, а едва приехав в Америку, он делил жилье с семьей из пяти человек. Но тогда он был моложе и легче приспособивался. А за последние годы одиночество превратилось в единственную роскошь, которую равви мог себе позволить.

Как он и предвидел, его дискомфорт не остался тайной для Голема. Вскоре у нее появилась привычка располагаться в комнате как можно дальше от него, словно, оставаясь на месте, она пыталась стать невидимой. Наконец он усадил ее и объяснил, что она не должна прятаться только потому, что он находится в комнате.

– Но ведь вы хотите, чтобы меня тут не было.

– Да, хочу, но против своей воли. Моя лучшая часть знает, что ты можешь сидеть или стоять где хочешь. Тебе надо научиться вести себя в соответствии с тем, что люди говорят или делают, а не прислушиваться к тому, что они чувствуют или чего боятся. У тебя есть дар заглядывать в чужие души, и ты можешь увидеть в них множество некрасивых и неприятных вещей, куда худших, чем мое нежелание находиться с тобой в одной комнате. Будь к этому готова и научись не обращать на них внимания.

Она слушала его, кивала, но ей было трудно – куда труднее, чем равви мог предположить. Находиться с ним в одной комнате, зная, что ее присутствие мешает ему, равнялось постоянной пытке. Инстинкт, приказывающий ей быть полезной, гнал ее прочь, а игнорировать его было так же невозможно, как оставаться неподвижной, когда прямо на тебя мчится трамвай. Она начинала суетиться, дергаться, ломать то, что случайно попадалось под руку: ручка шкафа оставалась у нее в руке, подол платья, зацепившись за угол, с треском отрывался. Она пугалась, начинала многословно извиняться, равви уверял ее, что все это пустяки, но она чувствовала его раздражение, и от этого ей становилось еще хуже.

– Хорошо бы вы разрешили мне что-нибудь *делать*, – попросила она однажды.

Вскоре равви осознал свою ошибку. С самыми добрыми намерениями он выбрал для нее худший из всех возможных вариантов – полную праздность. Осознав это, он быстро сдался и разрешил ей заниматься уборкой, что раньше всегда делал сам.

Жизнь в квартире немедленно изменилась. Теперь у женщины появилась цель, и она могла посвятить себя ей, забыв про досадные помехи. Каждое утро она мыла оставшуюся после завтрака посуду, потом бралась за тряпку и начинала отскребать с плиты очередной слой грязи, скопившейся за много лет, прошедших после смерти супруги равви. Потом она застилала его постель, туго натягивая простыню на продавленный старый матрас. Потом стирала в кухонной раковине все скопившееся грязное белье, не считая нижнего, к которому он не разрешал ей прикасаться. Развешивала выстиранные вещи над плитой, а те, что уже высохли, снимала, гладила и складывала в шкаф.

– Мне теперь все время кажется, что я тебя использую, – жаловался равви, наблюдая, как она ставит в буфет чистые тарелки. – А мои ученики могут подумать, что я нанял служанку.

– Но мне нравится эта работа. Теперь мне гораздо спокойнее. И я хоть как-то могу отплатить вам за вашу доброту.

– Я не рассчитывал ни на какую плату, когда пригласил тебя сюда.

– Но мне так хочется, – упрямо твердила она, вытирая стол.

В конце концов равви смирился, подчиняясь неизбежному, а также привыкнув к неиссякаемому запасу отглаженных брюк и сорочек.

Друг с другом они старались говорить как можно тише. В доме всегда стоял шум, не смолкающий даже ночью, но стены были тонкими, и соседи раввина непременно обратили бы внимание на женский голос в его квартире. К счастью, у Голема не было нужды посещать общую уборную в конце коридора. Мылась она на кухне раз в день. Раввин в это время сидел у себя в спальне или за столом в гостиной, погруженный в занятия или молитву. Тяжелее всего было, когда к равви приходили ученики. За несколько минут до назначенного времени женщина отправлялась в спальню и забиралась под кровать. Потом раздавался стук в дверь, звук переставляемых в гостиной стульев, и голос учителя спрашивал: «Ну что, выучил ты свой урок?»

Под кроватью было очень тесно. Матрас давно провис, и пружины едва не задевали ее по носу. Лежать в таких условиях неподвижно было мучительно. Она изо всех сил старалась расслабиться, но скоро руки и ноги начинали подергиваться. А в голову тем временем беспрепятственно лезла целая армия нужд, упований и желаний разных людей: раввина и мальчика, которые оба только и мечтали, чтобы стрелки часов двигались быстрее, женщины из комнаты внизу, у которой непрерывно и мучительно болела нога, троих детей из соседней квартиры, каждый из которых хотел непременно играть с игрушкой, доставшейся другому, а кроме того, чаяния и надежды остальных, более дальних соседей, населявших многоквартирный дом, похожий на маленький город. Весь этот поток словно устремлялся в одно место, центром которого была она.

Чтобы заглушить этот непрерывный шум, равви советовал ей сосредоточиться на других чувствах, и она прижимала ухо к полу, слушая, как булькает в трубах вода, как матери на идише ругают непослушных детей, как грохочут на кухнях кастрюли и сковородки и стрекочут швейные машинки. А поверх всего этого раздавались глухое бормотание раввина и срывающийся молодой голос мальчика, читающего Тору. Иногда от скуки она начинала повторять слова вслед за ними.

По ночам ей тоже приходилось трудно. Равви ложился в десять и вставал в шесть, и целых восемь часов она была предоставлена сама себе и чужим сонным путаным мыслям. Чтобы время бежало быстрее, равви предложил ей читать, и однажды она наугад вытащила книгу с полки:

...Приготовленную пищу можно ставить на плиту, топившуюся соломой или бурьяном. Если же плита топилась маковым жмыхом или дровами, пищу на нее ставить нельзя, пока угли не покроются пеплом или не будут выгребены. Последователи Шама утверждают, что можно снимать пищу с плиты, но нельзя ставить ее обратно. Последователи Гилеля разрешают и это.

Тогда наставник спрашивает: «Означает ли выражение „нельзя ставить“, что пищу „нельзя возвращать“, но если ее и не снимали, то можно ли оставить ее на плите?»

Ответ на этот вопрос можно разделить на две части...

Она захлопнула толстый том и устала на кожаную обложку. Неужели все книги такие? Обескураженная и немного раздосадованная, остаток ночи она провела у окна, наблюдая за редкими прохожими.

Утром она рассказала равви о своей неудачной попытке. Немного позже он вышел из дому за покупками, а вернувшись, вручил ей плоский пакет. Внутри оказалась тоненькая книжка с веселой разноцветной обложкой. Большой корабль, населенный разными животными, застыл на гребне гигантской волны. На заднем плане разноцветные полосы образовывали на небе полукруг, верхней своей частью касающийся облаков.

– Наверное, начинать лучше с этого, – сказал равви.

В ту ночь Голем познакомилась с Адамом и Евой, с Каином и Авелем, узнала про Ноев ковчег и про радугу – символ Божественного прощения. Она прочитала о том, как Авраам и Исаак поднялись на гору, о едва не принесенной жертве и ее последствиях. Прочитанное показалось ей очень странным. Сами рассказы были незамысловатыми и читались легко, но она не понимала, как следует относиться к этим людям. Жили они на самом деле или были

придуманы? Об Адаме и Ное говорилось, что они якобы прожили несколько сот лет, но разве такое возможно? Равви, самому старому человеку, которого она встретила за свою короткую жизнь, до столетия оставалось еще очень много. Выходит, книжка врала? Но равви всегда так щепетильно относился к правде. Если в этой книжке – ложь, зачем он дал ее Голему?

Она перечитала книжку три раза, пытаясь понять этих давно ушедших людей. Все их побуждения, потребности и страхи были чересчур очевидны. «И Адам с Евой посмотрели друг на друга и увидели, что они голые, и устыдились своей наготы», «И позавидовал Каин брату своему, поднялся и убил его». Как не похоже это на жизнь окружающих ее людей, которые норовят поглубже запрятать свои желания. Она вспомнила, как равви советовал судить о людях не по их мыслям, а по делам. И судя по делам тех, о ком говорилось в этой книге, прямое следование своим побуждениям и желаниям вело прямоком к беде и позору. Но неужели все желания так дурны? А как же тот голодный мальчик, для которого она украла книжку? Если человек умирает от голода, что плохого в его желании поесть? Или женщина из квартиры в конце коридора? Ее сын торгует товаром вразнос в месте, которое называется Вайоминг, а она только и живет ожиданием письма от него или какого-нибудь знака, что он жив и здоров. Такое желание тоже кажется естественным и правильным. Но с другой стороны, что она знает о жизни?

Утром, когда равви спросил ее о прочитанной книге, она не сразу ответила, потому что искала нужные слова.

– Все эти люди, они жили на самом деле?

Равви удивленно поднял бровь:

– И от этого будет зависеть твое отношение к книге?

– Не знаю. Но по-моему, они чересчур *простые*, чтобы быть настоящими. Только у них возникает желание, и раз – они спешат его исполнить. А желания-то у них немаленькие. Не то что они хотят новую шляпку или кусок хлеба. Они же совершают очень серьезные поступки. Как Адам и Ева с яблоком. Или Каин, когда он убил Авеля. – Она сосредоточенно нахмурилась. – Конечно, я пока мало живу на свете, но мне кажется, это как-то ненормально.

– Ты ведь видела, как дети играют на улице? Скажи, часто они противятся своим желаниям?

– Я понимаю, что вы хотите сказать, но ведь эти рассказы совсем не о детях.

– В каком-то смысле как раз о детях. Это ведь были первые люди на земле. Все их поступки и все решения были самыми первыми. Вокруг не было общества, чтобы их судить, а у них не было примеров, к которым можно обратиться. Только Всевышний мог объяснить им, что хорошо, а что плохо. И если Его слова шли вразрез с их желаниями, они, как дети, могли и не послушаться. И тогда им приходилось платить за последствия своих поступков. Но скажи мне – чтение, похоже, не особенно помогло тебе скоротать время?

– Я старалась! – виновато сказала она. – Просто трудно так долго сидеть неподвижно!

Равви вздохнул. Он очень надеялся, что чтение станет для нее радостью и поможет решить их проблему. Похоже, ничего с этим не получится. Природу не обманешь.

– Если бы только мне можно было выходить по ночам из дому, – тихо взмолилась женщина.

Равви покачал головой:

– Боюсь, это невозможно. Ночью по улицам гуляют только особы дурного поведения. Ты можешь стать жертвой непристойных приставаний и даже насилия. Мне жаль, но это так. Зато я думаю, тебе пора начать выходить на улицу днем. Мы могли бы прогуляться вместе, после того как я проведу все занятия. Ты бы этого хотела?

Лицо Голема вспыхнуло от радости, и остаток утра она драила и без того безукоризненно чистую кухню с двойным усердием.

Когда ушел последний ученик, равви рассказал ей о своем плане совместной прогулки. Он выйдет из дому первым, а она последует за ним ровно через пять минут. Они встретятся в нескольких кварталах от дома на заранее оговоренном углу. Он вручил ей старую шаль своей жены, соломенную шляпку и перевязанный бечевкой пакет с парой книжек.

– Иди так, словно направляешься куда-то по делу, но не слишком быстро. Если понадобится, смотри, как ходят по улицам другие женщины, и подражай им. Я буду ждать тебя.

Он ободряюще улыбнулся ей и ушел.

Женщина ждала, не спуская глаз с часов, тикающих на полке. Прошло три минуты. Четыре. Пять. С пакетом в руке она вышла в коридор, заперла дверь, спустилась по лестнице и шагнула на залитую полуденным солнцем улицу. Она впервые покинула квартиру, с тех пор как поселилась у равви.

На этот раз она была более или менее готова к немедленно обрушившемуся на нее потоку чужих желаний, и все-таки их концентрированная сила испугала ее. Охваченная мгновенной паникой, она даже захотела вернуться в дом, но это было невозможно – ее ведь ждал равви. Женщина еще раз окинула взглядом непрерывный поток транспорта и пешеходов, разносчиков с их лотками и лошадей, крепко, точно талисман, прижала к боку пакет с книжками и храбро шагнула вперед.

Тем временем равви ждал на углу и тоже нервничал. Его обуревали тревожные мысли. Сначала он подумывал о том, чтобы издали проследить за Големом и лично убедиться, что ей ничего не грозит, но от этой идеи пришлось отказаться. С ее сверхъестественной чуткостью она моментально почувствует его присутствие, а ему ни в коем случае не хотелось бы потерять или обмануть ее доверие. Поэтому равви поступил так, как было договорено: отправился на угол и стал ждать. Он решил, что заодно испытает и себя: сможет ли он жить с сознанием того, что она в одиночку осваивает большой мир, а он ничем не в силах ей помочь?

Он от всей души надеялся, что они оба успешно пройдут испытание, потому что продолжать прежнее существование с каждым днем становилось все тяжелее. Его гостья была скромна и нетребовательна, и все-таки ее постоянное присутствие угнетало старика. Как о самой большой роскоши он мечтал о простом удовольствии почитать газету, сидя за чашкой чая в нижней сорочке и кальсонах.

Имелись у него и более серьезные поводы для беспокойства. В самом нижнем ящике комода, под аккуратно сложенным зимним пальто, лежала сумочка с завязками, которую равви обнаружил в кармане ее куртки. В сумочке имелся мужской бумажник с несколькими купюрами, элегантные серебряные часы на цепочке, правда безнадежно испорченные после пребывания в воде, и маленький клеенчатый конверт. На конверте тонким неровным почерком была выведена надпись на иврите: «КОМАНДЫ ДЛЯ ГОЛЕМА», а внутри лежал вчетверо сложенный листок с несколькими строчками, к счастью или к несчастью пережившими путешествие под водой. Равви заглядывал в конверт и знал, что в нем содержится.

Сама женщина, видимо, совершенно забыла про сумочку, но все-таки это было ее единственное имущество, оставшееся от покойного хозяина, и равви не был уверен, что поступает правильно, скрывая его от Голема. С другой стороны, если бы на остров Эллис высадился ребенок с пистолетом в кармане, разве не разумно было бы конфисковать у него оружие? И равви решил, что пока не станет показывать конверт женщине.

Однако стоило вспомнить о конверте, как мысль его заработала в новом направлении. До этого он видел только два способа решить судьбу Голема: либо уничтожить ее, либо взять на себя заботу об ее защите и образовании. Но что, если найдется и третий путь? Что, если он сумеет каким-либо образом перепоручить женщину новому хозяину?

Насколько ему было известно, никто не делал такого прежде. У него давно не осталось ни книг, ни советчиков, способных помочь в таком трудном деле. Но все-таки совсем отказываться от такой счастливой возможности ему не хотелось. Пока он займется ее обучением и

посмотрит, можно ли подготовить ее для самостоятельной жизни. А уже потом подумает, как осуществить свой план.

Все эти мысли вдруг вылетели у него из головы, потому что он заметил в толпе знакомую высокую фигуру. Она тоже увидела его, и ее лицо осветилось радостью. А он, широко улыбаясь, уже спешил ей навстречу, сам немного напуганный внезапной волной горькой и сладкой гордости, вдруг затопившей его сердце при виде этой женщины.

* * *

Далеко от Нью-Йорка, по другую сторону Атлантики, германский город Конин продолжал расти и богатеть, практически не заметив отъезда Отто Ротфельда. Единственной переменной там стала покупка бывшего мебельного магазина Ротфельдов приезжим из Литвы, превратившим его в модное кафе. Все соседи согласились, что эта перемена пошла району явно на пользу. Единственным в Конине человеком, вспоминаявшим Ротфельда, был пользующийся дурной репутацией старый отшельник Иегуда Шальман, тот самый, что изготовил голема. Шли недели, а потом и месяцы, тело Отто Ротфельда давно уже стало добычей морских течений и рыб, а Шальман, сидя вечером за стаканчиком шнапса, частенько размышлял о неприятном молодом человеке. Добился ли он успеха в Америке? Сумел ли оживить свою глиняную невесту?

Иегуде Шальману недавно исполнилось девяносто три года. Никто не догадывался об его истинном возрасте, потому что выглядел он не больше чем на семьдесят, а при желании мог показаться еще моложе. Дожить до столь преклонных лет ему помогли опасные и тайные знания, недюжинный ум и, главное, великий страх смерти, преследовавший его с самой юности. Он знал, конечно, что рано или поздно ангел смерти явится за ним, раскроет Книгу жизни и смерти и заставит Иегуду выслушать список его грехов. Потом ворота распахнутся, и он полетит прямо в пламя геенны, где будет по заслугам наказан за каждое свое злодеяние. А злодеяний этих накопилось в его жизни немало.

И потому каждую минуту, свободную от продажи приворотных зелий глупым деревенским девкам или не оставляющих следов ядов измученным женам, Шальман посвящал одной цели: как можно дольше отодвинуть встречу с ангелом с его книгой. Он был человеком практическим, не склонным к пустым размышлениям, и сам удивлялся тому, как часто его мысли обращались к незадачливому торговцу мебелью.

Не всегда Иегуда Шальман вел такую жизнь, как теперь.

Когда-то раввины считали его своим лучшим учеником. Он вгрызался в учебу так, словно только для этого и был рожден. К пятнадцати годам он умел завести в тупик любого своего наставника и так искусно распутывал хитросплетения Талмуда, что учителя сами не замечали, как начинали оспаривать ту самую позицию, в которую только что свято верили. С гибкостью и силой ума юноши могло сравниться только его благочестие и преданность Богу, до того неистовая, что остальные ученики казались рядом с ним завзятыми еретиками. Не раз и не два его учителя шептались друг другу в ночной тиши, что, возможно, ждать пришествия мессии осталось не так уж долго.

Из него хотели поскорее вырастить раввина. Родители Иегуды были счастливы; бедные, как самые последние крестьяне, они отказывали себе во всем, чтобы дать сыну образование. В совете раввинов спорили, как поступить с юношей дальше. Будет ли он максимально полезен своему народу, если возглавит общину? Или его следует направить в университет, где он будет обучать новое поколение?

За несколько недель до посвящения Иегуде Шальману приснился сон.

Он шел по усыпанной каменными обломками тропе, бегущей по бесприютной серой пустыне. Далеко-далеко впереди маячила безликая стена высотой до неба, закрывающая весь горизонт. Он устал и с трудом переставлял сбитые в кровь ноги, но в том месте, где тропа встречалась со стеной, Иегуда вскоре разглядел маленькую дверцу размером не больше человеческого роста. Исполненный странной, пугающей радости, остаток пути он проделал бегом.

Достигнув дверцы, он остановился и заглянул внутрь. То, что лежало за ней, было окутано густым туманом. Он прикоснулся к стене, она оказалась холодной как лед. Обернувшись, Иегуда увидел, что и тропинка, по которой он пришел, теперь до самых его ног скрыта туманом. Во всем мироздании остались только стена, дверь в стене и он сам.

Иегуда шагнул внутрь.

Туман рассеялся, а стена исчезла. Он стоял на лугу посреди зеленого разнотравья. Солнце проливалось на него с неба потоки тепла. Густой воздух пах землей и цветами. Неизвестное прежде ощущение глубокого мира наполнило Иегуду.

На краю луга под лучами солнца золотилась небольшая рощица. Он знал, что среди деревьев стоит кто-то невидимый и ждет его. Исполненный радости, он шагнул вперед.

В то же мгновение небо почернело, как во время грозы. Иегуда почувствовал, как кто-то схватил и поднял его. А в голове раздался голос: «Тебе здесь не место».

Луг и роща исчезли, его больше не держали, он падал... падал...

А потом опять очутился на тропе и стоял на четвереньках среди каменных обломков. Все стало как прежде, только впереди больше не было ни стены, никакой другой цели – только камни и пустыня до самого горизонта, без надежды на отдых или хотя бы передышку.

Иегуда Шальман проснулся в полной темноте, твердо зная, что проклят.

Когда он сказал своим учителям, что уходит и никогда не станет раввином, они рыдали по нему, как по мертвому. Они умоляли объяснить, что заставило такого блестящего ученика отказаться от своего предназначения. Но он ничего не объяснял и никому не рассказал о своем сне, потому что знал: они начнут уговаривать его и рассказывать сказки о демонах, морочащих головы праведникам фальшивыми пророчествами. Он сам точно знал, что все приснившееся ему – правда, он только не понимал *почему*.

И Иегуда Шальман навсегда отказался от своих занятий. Бессонными ночами он рылся в памяти, пытаясь понять, за какой из своих грехов проклят. Конечно же, жизнь его не была безупречной: иногда он грешил гордыней и излишним рвением, а в детстве не раз дрался со своей сестрой и дергал ее за косы, но всегда всеми своими силами он старался соблюдать заповеди. И разве его промахи не возмещались его добрыми делами? Он был таким хорошим сыном и таким прилежным учеником! Самые мудрые и старые раввины считали его чудом Господним! Если Иегуда Шальман не стоил Божественной любви, то кто тогда стоил?

Вконец измучившись этими мыслями, Иегуда уложил несколько книг и немного еды в дорогу, распрощался с плачущими родителями и отправился в свой первый самостоятельный путь. Ему было девятнадцать лет.

Время оказалось не слишком удачным для путешествий. Конечно, довольно смутно Иегуда представлял себе, что их местечко находится в Познанском великом княжестве, а то, в свою очередь, входит в состав Пруссии, но все эти факты казались его учителям малозначительной чепухой, недостойной внимания юноши, столь глубоко погруженного в жизнь духа, а потому они на них никогда особенно не задерживались. И только сейчас Иегуде открылась новая правда: он был наивным, неопытным евреем без гроша в кармане, почти не знающим польского языка и совсем не говорящим по-немецки, с кучей знаний, которые оказались совершенно бесполезными в реальной жизни. Едва выйдя в путь, он стал жертвой грабителей; приметив его узкую спину и тонкие черты, те приняли его за сына богатого купца, а осознав свою ошибку, избили за напрасно причиненные хлопоты. А вскоре он совершил ошибку, попросив еды в богатом немецком селе. Бюргеры поколотили его и выбросили на дорогу. После этого

он решался заходить только в деревни победнее, где он хотя бы понимал, что ему говорят. Ему очень хотелось снова заговорить на идише, но он избегал еврейских местечек, потому что твердо решил навсегда распрощаться с прежней жизнью.

Он пытался заниматься крестьянской работой, пахал землю и пас овец, но ко всему этому был плохо приспособлен. Новых друзей он не завел, потому что был тощим и оборванным евреем, произносящим польские слова так, словно они пачкали ему рот. Частенько он застывал, опершись на лопату или совсем позабыв про тянущего плуг вола, и начинал заново перебирать в памяти все свои прошлые грехи, и чем больше он о них думал, тем многочисленнее они становились. Гордыня и леность, гнев, высокомерие и похоть – он был виновен во всех, и ничто не могло перевесить их страшной тяжести. Его душа походила на камень, испещренный прожилками хрупкой породы: снаружи она казалась цельной и крепкой, но пользы в ней не было никакой. Все раввины ошибались на его счет. Только Всевышний знал о нем правду.

Однажды в жаркий полдень, когда он в очередной раз углубился в свои мрачные мысли, забыв о работе, другой батрак обругал его за лень. Иегуда, еще не придя в себя и вдруг забыв польский, ответил ему куда более резко, чем собирался. В ту же секунду мужчина набросился на юношу. Вокруг них скоро образовался кружок других работников, довольных тем, что высокомерный еврейчик наконец-то получит заслуженную взбучку. В разгар драки Иегуда вдруг увидел себя будто со стороны: вот он лежит на спине в пыли и из носа его сочится кровь, а обидчик склонился над ним, и рука его уже занесена для нового удара, и со всех сторон они окружены кольцом ухмыляющихся морд, словно демоны собрались, чтобы вершить над ним свой суд. В этот момент вся скопившаяся в нем боль и ярость и отвращение к себе достигли вдруг высшей точки. Не помня себя, он вскочил на ноги и повалил своего обидчика на землю. Застывшие от ужаса зрители смотрели, как Иегуда неистово колотил соперника по голове, словно хотел убить, пока чьи-то крепкие руки не обхватили его сзади и не оттащили прочь. Он яростно извивался в этих руках до тех пор, пока не вырвался на свободу. И тогда Иегуда побежал. Местные стражи порядка преследовали его до границы городка, но юноша не остановился и потом. Из всего имущества у него оставалась только та одежда, что была на нем. Уходя из дома, он был куда богаче.

С этих пор Иегуда перестал составлять список своих грехов. И без того было ясно, что душа его глубоко порочна. Он избежал ареста и тюрьмы, но это служило слабым утешением: уже тогда он начал бояться другого суда – того, что находился вне человеческой власти.

Он отказался от крестьянского труда и вместо этого бродил от города к городу, ища случайную работу. Он сколачивал полки, подметал полы, кроил одежду. Платы не всегда хватало на еду. Чтобы выжить, он начал воровать, и уже скоро воровал, даже если в этом не было нужды. Как-то он нашел работу на мельнице: ссыпал муку в мешки и возил их в город на продажу. У местного пекаря была хорошенькая дочка с яркими зелеными глазами и ладной фигуркой. Она любила крутиться поблизости, когда он разгружал муку в пекарне ее отца. Как-то он набрался храбрости и провел пальцами по ее плечу. Она ничего не сказала, но улыбнулась ему. В другой приезд, осмелев и воспламенившись, он зажал ее в углу и неуклюже обнял. Она засмеялась и убежала. Но в следующий раз она уже не смеялась. Они соединились на горе мешков, и их жадные губы были густо покрыты мучной пылью. Когда все кончилось, он слез с нее, дрожащими руками привел себя в порядок, обозвал ее шлюхой и ушел. Когда он приехал в следующий раз, она не ответила на его заигрывания, и он ударил ее по лицу. На мельнице его уже ждали ее отец и полиция.

За домогательства и изнасилование Иегуду Шальмана приговорили к пятнадцати годам тюрьмы. С той ночи, когда в девятнадцать лет ему приснился сон, прошло два года.

Так начался третий этап его образования. В тюрьме Шальман изменился: он стал жестче и хитрее; он никогда не расслаблялся, каждую минуту был настороже и научился с первого взгляда оценивать опасность, исходящую от приближающегося человека. Исчезли последние

следы былой мягкости, но скрыть интеллект он не мог. Сначала сокамерники потешались над ним: костлявый, прочитавший кучу книг еврей-доходяга, запертый вместе с убийцами! Они называли его «равви», сначала с издевкой, но уже скоро начали обращаться к нему, когда требовалось разрешить спор. Он им не отказывал и выносил решения, в которых мудрость Талмуда ловко сочеталась с моралью тюремного двора. Сокатерники охотно прислушивались к его суждениям, и скоро даже надзиратели начали просить у него совета.

И все-таки он продолжал держаться обособленно, не спешил стать частью тюремной иерархии, не заводил себе приятелей и не пытался подкупить или задобрить охранников. Остальные заключенные подозревали его в чистоплюйстве и неуместной брезгливости, но он хорошо понимал, что истинная сила находится у него в руках. Его решения были окончательными и неоспоримыми и всегда более справедливыми, чем вердикты любого суда. Его не любили за это, но зато оставляли в покое. Так ему удалось выжить и через пятнадцать долгих лет покинуть тюрьму полным горечи и злости, но физически невредимым.

В тридцать пять лет он вышел на свободу и скоро обнаружил, что, оставаясь за решеткой, находился куда в большей безопасности. Весь край был охвачен огнем войны. Поляки, не вынеся постоянных притеснений, поднялись против Пруссии на защиту своих земель и культуры и оказались втянутыми в битву, в которой у них не было шансов на победу. Орды прусских солдат захватывали деревню за деревней, растаптывали последние очаги сопротивления, грабили синагоги и католические соборы. Оставаться в стороне от всего этого было невозможно. Шальман встретился на дороге с отбившимся от своих прусским отрядом, и солдаты поколотили его просто для удовольствия. Не успели зажить его раны, как то же самое сделала банда польских ополченцев. Он пытался найти какую-нибудь работу в деревнях, но тюрьма наложила на его облик неизгладимый отпечаток, заострила черты, сделала взгляд расчетливым и хитрым, и никто не хотел нанимать его. Он таскал еду из амбаров и кормушек для лошадей, ночевал в полях и старался никому не попадаться на глаза.

Как-то ночью Шальман, голодный и истерзанный вечным страхом смерти, проснулся на краю грязного пустого поля и обнаружил, что горизонт налился пульсирующим оранжевым светом, который на его глазах разгорался все ярче. Еще полусонный, он поднялся на дрожащие ноги и, забыв о своих оставшихся на земле жалких пожитках, пошел в ту сторону. Глубокая борозда, прорезавшая середину поля, вела прямо к источнику этого странного света, и, спотыкаясь о комья земли, плохо соображая от голода, Шальман побрел по ней. Ночь была теплой и ветреной, и колосья тихонько шептались, словно обменивались своими маленькими секретами.

Оранжевое свечение поднималось все выше в небо. Постепенно Шальман начал различать перекликающиеся мужские голоса и испуганные женские крики. В ноздри ударил запах горящего дерева.

Поле осталось позади, и земля начала круто забирать вверх. Оранжевое зарево охватило уже полнеба. Запах гари стал резче, а крики громче. Склон был таким крутым, что Шальман упал на четвереньки и почти полз по нему, выбиваясь из последних сил и теряя остатки разума. Его глаза были крепко зажмурены, но он продолжал видеть оранжевое свечение, и оно словно гнало его вперед. Он полз, казалось, бесконечно долго, но вот земля начала выравниваться, и обессиленный Шальман понял, что достиг вершины. Он так устал, что не мог поднять головы, и тут же провалился в беспамятство, которое было крепче, чем сон.

Когда он очнулся, небо было голубым, ветерок ласковым, а его сознание непривычно ясным. Голод стал почти непереносимым, но он ощущал его словно со стороны: как будто кто-то другой хотел есть, а он сам наблюдал за ним. Он сел, огляделся и обнаружил, что находится посреди большой поляны. Нигде вокруг не было ничего похожего на холм, местность была совершенно ровной. Он понятия не имел, с какой стороны пришел сюда и как ему вернуться обратно.

Прямо перед ним возвышались руины сожженной синагоги.

Они стояли посреди большого черного круга выгоревшей травы. Огонь уничтожил стены до самого фундамента, и алтарь был открыт всем ветрам. Внутри почерневшие балки обозначали места, где раньше стояли ряды сидений.

Осторожно Шальман пересек круг обуглившейся земли, постоял в том месте, где когда-то была дверь, а потом шагнул внутрь. Впервые за семнадцать лет он переступал порог храма.

Внутри царила странная тишина. Даже шепот ветерка, пение птиц и жужжание насекомых, казалось, не проникают сюда. Нагнувшись, Шальман зачерпнул с пола горсть пепла и медленно пропустил его через пальцы. Он сразу же понял, что синагога не могла сгореть прошлой ночью: пепел был совершенно холодным. Неужели все это ему приснилось? Тогда что же привело его сюда?

Медленно он пошел вперед по проходу. Несколько обугленных почерневших балок преграждали ему путь, он попытался отодвинуть их, и они рассыпались под его руками.

Кафедра обгорела, но в основном сохранилась. Никаких следов ковчега или свитков не осталось, – видимо, они были уничтожены, или, возможно, их успели спасти. На полу валялись обгоревшие остатки книг. Шальман подобрал наполовину сгоревшую побуревшую страницу – это был кусок из кадиша.

За кафедрой располагалось небольшое помещение, вероятно служившее кабинетом раввину. Шальман зашел в него, переступив через остатки разрушенной стены. Пол был усыпан обгоревшими листьями бумаги. Посредине стоял обгоревший деревянный стол с одним выдвижным ящиком. Шальман подергал его за ручку, и она вместе с замком осталась у него в руках. Тогда, запустив в образовавшееся отверстие пальцы, он выломал переднюю стенку ящика. Внутри лежали остатки какой-то книги.

Осторожно он вынул их и положил на стол. Кожаный переплет отвалился, поэтому, строго говоря, это была уже не книга, а стопка обгорелых листов. От обложки осталось только несколько кожаных фрагментов. Шальман собрал их и отложил в сторону.

По краям листы совсем почернели, и только посредине сохранились разборчивые куски. Бумага была толстой, будто ткань, шрифт тонким, а текст на идише – витиеватым и старомодным. С растущим изумлением Шальман бережно переворачивал хрупкие поврежденные страницы, и разрозненные слова постепенно складывались в связные фрагменты:

...верное средство против лихорадки – сия формула, открытая Галеном и дополненная...

...для пущей действенности надлежит повторить сорок один раз...

...восстановить здоровье после поста, соберите девять веток орехового дерева, каждая с девятью листьями...

...дабы голос твой был приятен чужому слуху, обратитесь к Ангелу...

...увеличить мужскую силу, смешай шесть этих трав и принимай каждую полночь, поминая при этом следующие имена Бога...

...дабы отвратить демонов, повтори этот псалом...

...для голема позволительны лишь во времена величайшей опасности, и со всем вниманием удостоверься, что...

...повторяй имя демона, каждый раз убирая по одной букве, пока имя не умалится до одной буквы, и так же умалится и сам демон...

...чтоб дурного не случилось, если женщина пройдет между двумя мужчинами...

...особенно благодетельно имя Бога из шестидесяти букв, но в месяц Адар оно не произносится...

Страница за страницей открывались перед ним секреты древних мистиков. От многих осталось всего по несколько разрозненных слов, но некоторые сохранились почти полностью.

Это было знание, запретное для всех, кроме самых благочестивых и просвещенных. Когда-то наставники намекали Шальману, что в свое время все эти чудеса будут открыты и для него, но пока не позволяли заглянуть в них хотя бы одним глазком, уверяя, что он еще слишком молод. Тот, кто читает заклинание, или изгоняет демона, или произносит имя Бога, еще не достигнув полной чистоты сердца и помыслов, тот рискует оказаться в геенне огненной, говорили они.

Но Шальман давно уже не сомневался, что вечное пламя так или иначе ожидает его. А если такого конца все равно не миновать, надо хотя бы получше воспользоваться настоящим. Некая сила, божественная или злая, привела его сюда и вложила ему в руки эти древние тайны. И он твердо решил, что не откажется от этого подарка и использует его в своих собственных целях.

Старые листки легко поскрипывали, когда он переворачивал их. Голова его сильно кружилась от голода, и, возможно, поэтому ему казалось, что они вибрируют под его пальцами, как туго натянутые струны.

5

Прошло еще несколько дней усиленного обучения и нервозности, и Арбели решил наконец, что пришла пора представить Джинна остальным обитателям Маленькой Сирии. В центре придуманного им плана была та самая женщина, которая, по сути, и оказалась причиной появления Джинна на Манхэттене: Мариам Фаддул, хозяйка кофейни, принесшая Арбели для ремонта помятый медный кувшин.

Кофейня Фаддулов заслуженно славилась в округе тем, что в ней можно было услышать и обсудить самые свежие и животрепещущие сплетни, отвечала за которые, разумеется, прекрасная Мариам Фаддул, жена владельца. Самыми привлекательными чертами Мариам были пара простодушно распахнутых карих глаз и искреннее желание сделать счастливыми и довольными всех окружающих. Она была так доброжелательна и готова к сочувствию, что с ней постоянно делились печалью и бедами; Мариам охотно соглашалась с любым мнением и находила мудрость в каждом высказывании.

– Ах, этот бедняга Салим, – сокрушалась она. – Ведь видно же, как сильно он влюблен в Надию Хаддад! Даже слепой козе ясно, что это так. Какая жалость, что родители Надии не одобряют этот брак.

Конечно, ее собеседник мог возразить:

– Но, Мариам, ведь только вчера ты говорила здесь с ее отцом и согласилась, что Салим еще слишком молод и не готов содержать семью. Разве они оба могут быть правы?

– Если бы все наши родители ждали, пока они будут полностью готовы к браку, – отвечала на это Мариам, – то большинства из нас и на свете бы не было.

Мариам виртуозно умела обращать обычные сплетни на пользу своим соседям и клиентам. Если бизнесмен за кальяном и кофе начинал жаловаться на недостаточные размеры своего предприятия – дело идет прекрасно, если бы только у него было помещение для обработки больших заказов! – Мариам незаметно появлялась у его столика, изящным движением кисти доливала в чашку кофе и советовала:

– А вы бы поговорили с Джоржем Шалхубом. Может, он уступит вам право аренды, когда уедет?

– Но ведь Джордж Шалхуб никуда не уезжает.

– Разве? Значит, вчера я говорила не с его женой, а с какой-то другой Сарой Шалхуб. Она сказала, что их сын перебирается в Олбани, а ей даже думать страшно о том, чтобы расстаться с мальчиком, поэтому она уговаривает Джорджа тоже переехать. Если кто-нибудь хотя бы намекнет, что готов взять на себя его обязательства по аренде, думаю, он ухватится за такую возможность.

После чего клиент торопливо расплачивался и почти бегом выскакивал из кофейни, чтобы отправиться на поиски Джорджа Шалхуба.

Саид Фаддул наблюдал за всей этой сценкой из кухни, и улыбка не покидала его лица. Другой на его месте мог бы заревновать, видя, какое внимание оказывает жена посторонним, но не таков был Саид. Он не отличался особой разговорчивостью, но причина тому крылась не в неловкости или стеснительности, как у Арбели, а в спокойной уверенности, столь удачно дополнявшей жизнерадостную сердечность его жены. Он знал, что только благодаря его присутствию Мариам может вести себя так свободно; будь она одинокой или замужем за мужчиной послабее, ей пришлось бы постоянно сдерживать свою общительность, чтобы не дать повода для вредоносных сплетен. Но в Маленькой Сирии все знали, что Саид бесконечно гордится своей женой и рад оставаться в тени, предоставив ей блистать.

Наконец Арбели приступил к осуществлению своего плана. В кофейню Фаддулов был отправлен посыльный с запиской о том, что кувшин Мариам готов. И в тот же день она явилась в мастерскую, даже не сняв фартука, насквозь пропитавшегося темным ароматом обжаренного кофе. Как всегда при виде ее, сердце Арбели слегка сжалось от сладкой боли, словно вздохнуло: «Ну что ж поделаешь». Подобно многим мужчинам в их районе, он был немного влюблен в Мариам Фаддул. До чего же повезло Саиду, постоянно греющемуся в лучах этих ярких глаз и счастливой улыбки, вздыхали ее многочисленные поклонники. Но никто из них, даже те, кто без всякого почтения относился к чужой собственности, и помыслить не мог, чтобы присвоить часть ее прелестей себе. Ведь каждому было совершенно ясно, что сияние этой улыбке придает бесконечная вера Мариам в то, что ее окружают только прекрасные люди. И что улыбка может потускнеть, если кто-нибудь заставит женщину усомниться в этом.

– Мой добрый Бутрос! – воскликнула она. – Ну почему же вы так редко заглядываете в нашу кофейню? Поскорее скажите мне, что дела ваши идут прекрасно, заказы множатся и у вас нет ни одной свободной минутки, поскольку другого объяснения я просто не приму.

Арбели покраснел, смешался, улыбнулся и пожалел, что его язык так неповоротлив и неловок.

– Дела и правда идут неплохо, – пробормотал он, – и я один уже не справляюсь с заказами. Вот пришлось взять помощника. Хочу познакомить его с вами. Он приехал в Америку всего неделю назад. – Ахмад! – позвал он. – Иди сюда и познакомься с Мариам Фаддул!

Из кладовки в мастерскую вышел Джинн. Ему пришлось низко наклониться, чтобы не удариться о притолоку. В руках он держал кувшин.

– Добрый день, мадам, – произнес он, протягивая ей сосуд. – Я очень рад познакомиться с вами.

Женщина буквально онемела при виде незнакомца. Какое-то время она просто смотрела на него во все глаза. Смотрела так, что на мгновение Арбели, пристально наблюдавший за обоими, забыл о своих страхах и почувствовал приступ ревности. Неужели только красота Джинна до такой степени выбила ее из колеи? Нет, было в нем еще что-то, что и сам Арбели почувствовал во время их памятной первой встречи: какой-то особый пугающий магнетизм, странная настороженность сильного животного, еще не понявшего, кто перед ним: враг или друг.

Потом Мариам обернулась с Арбели и больно шлепнула его по плечу.

– Ой!

– Бутрос, ну что мне с вами делать?! Спрятал его от всех и никому не сказал ни слова! Ни теплой встречи, ни приветствия! Наверное, он считает нас ужасными грубиянами и сухарями. Или вы стыдитесь своих соседей?

– Прошу вас, миссис Фаддул, – вмешался Джинн. – Арбели не виноват: он молчал по моей просьбе. Я заболел еще в море и только несколько дней назад смог подняться с постели.

В то же мгновение возмущение на лице Мариам Фаддул сменилось глубоким сочувствием.

– Ах, бедняжка! Вы приплыли из Бейрута?

– Нет, из Каира, – покачал головой Джинн. – На грузовом судне. Я заплатил матросу, и он спрятал меня в трюме, там я и заболел. Мы причалили к берегу в Нью-Джерси, и мне удалось незаметно улизнуть на берег, – легко продолжал он заранее подготовленную историю.

– Ведь мы могли бы вам помочь! – не унималась Мариам. – Как страшно, должно быть, заболеть в чужой стране, где всех знакомых у вас – один Бутрос.

– Он прекрасно за мной ухаживал, – с улыбкой возразил Джинн, – а мне не хотелось быть никому обузой.

– Негоже быть таким гордым, – покачала головой Мариам. – Мы все здесь помогаем друг другу, иначе нам просто не выжить.

– Теперь-то я вижу, что вы правы, – охотно согласился Джинн.

– А где же вы познакомились с нашим неразговорчивым мистером Арбели? – вопросительно выгнула бровь женщина.

– В прошлом году в Захле я познакомился с кузнецом, у которого Арбели обучался ремеслу. Он и рассказал мне о своем ученике, который уехал в Америку.

– И представьте себе мое удивление, – подхватил историю Бутрос, – когда в один прекрасный день в мою дверь постучался едва живой парень и спросил, не тут ли живет жестянщик из Захле!

– Чего только не случается на свете! – покачала головой Мариам.

Арбели пристально вглядывался в ее лицо, страхась обнаружить признаки сомнения. Поверила ли она в их тщательно придуманную историю? Многие сирийцы попадали в Нью-Йорк довольно фантастическими путями: пешком через канадские леса или перегоняя груженные баржи из Нового Орлеана. Но теперь, услышав собственную выдумку, высказанную вслух, Арбели засомневался. Слишком уж невероятной она показалась. Да и Джинн чересчур румян и силен для человека, едва оправившегося после тяжелой болезни. Скорее, он похож на парня, который может запросто переплыть Ист-Ривер. Впрочем, менять что-то уже поздно. Арбели улыбнулся Мариам, от всей души надеясь, что она ничего не заподозрит.

– А вы сами из Захле? – продолжала расспросы женщина.

– Нет, я бедуин, – объяснил Джинн. – В Захле я просто доставил партию овечьих шкур.

– Вот как? – Она еще раз оглядела его с головы до ног. – Это поразительно! Бедуин-беженец в Нью-Йорке! Непременно загляните к нам в кофейню. Все захотят с вами познакомиться.

– Почту за честь, мадам, – поклонился ей Джинн и вернулся в заднюю комнатку.

– Какая невероятная история! – вполголоса сказала Мариам Арбели, провожавшему ее до дверей. – И какая выдержка нужна, чтобы проделать такое путешествие! Но вы поразили меня в самое сердце, Бутрос. Уж вы-то должны быть разумнее! А если бы он умер у вас на руках?

Арбели съежился от неловкости, которая была притворной лишь отчасти:

– Он был очень настойчив, а я не хотел огорчать больного.

– Да, он поставил вас в непростое положение. Но, конечно, все бедуины очень гордые. – Она быстро взглянула на него. – А он правда бедуин?

– Думаю, да, – подтвердил Арбели. – Во всяком случае, он почти ничего не знает про города.

– Очень странная история, – произнесла женщина, словно разговаривая сама с собой. – Непохоже, чтобы он...

Она замолчала, и лицо ее на миг омрачилось, но скоро на нем опять засияла привычная улыбка. Женщина тепло поблагодарила Арбели за прекрасную работу. И в самом деле, старый кувшин выглядел превосходно. Арбели выправил все вмятины, тщательно отполировал его, а потом заново нанес прежний узор с мельчайшими подробностями. Довольная женщина расплатилась и ушла, потребовав на прощанье:

– Как бы то ни было, вы просто обязаны привести Ахмада к нам в кофейню. Поверьте, несколько недель все только о нем и будут говорить.

Но судя по небывалому притоку посетителей в мастерской, Мариам не стала дожидаться обещанного визита, а со свойственным ей энтузиазмом немедленно оповестила всех своих друзей и клиентов о бедуине, ставшем учеником Арбели. Теперь собственный кофейник жестянщика непрерывно булькал на плите, а в дверь то и дело заглядывали соседи, желающие собственными глазами увидеть новичка.

К счастью, Джинн прекрасно справлялся со своей ролью. Он охотно развлекал гостей рассказом о морском путешествии и о болезни, но в излишние подробности не вдавался, чтобы не запутаться. Вместо этого широкими мазками он рисовал портрет прирожденного странника,

который в один прекрасный день, практически ни с того ни с сего, решил повидать Америку. Уходя, гости качали головой и поражались причудам Провидения, которое, похоже, и правда хранит глупцов и маленьких детей. Многие удивлялись тому, что Арбели согласился принять такого странного молодого человека в подмастерья, но ведь Арбели и сам был чудачком, так что, если разобраться, ничего невероятного тут не было.

– А кроме того, – рассуждали мужчины в кофейне, сидя за нардами, – Арбели вроде бы спас ему жизнь, или что-то в этом роде, а у бедуинов на этот счет правила строгие – оставаться в долгу они не любят.

– Ну, будем надеяться, что Арбели не прогадает и из парня получится хороший жестянщик, – кивал второй игрок, бросая кости.

Бутрос Арбели вздохнул с облегчением, когда поток любопытных обмелел и превратился в ручеек. Он устал от необходимости постоянно лгать, а кроме того, столько времени тратил на разговоры, что совсем запустил работу. А ведь каждый из его гостей считал своим долгом принести с собой какую-нибудь утварь, нуждающуюся в починке, и теперь мастерская была завалена погнутыми лампами и прохудившимися кастрюлями. Большинство работ были чисто косметическими, и владельцы, очевидно, принесли вещи в ремонт, просто чтобы поддержать соседа. Арбели испытывал к ним благодарность и мучился угрызениями совести. Судя по забытым полкам, всю Маленькую Сирию вдруг охватила эпидемия неуклюжести.

Джинна такое внимание забавляло. Он хорошо выучил свою историю, а большинство гостей были слишком вежливы, чтобы требовать подробностей. По словам Арбели, бедуинов окружал некоторый ореол, который сейчас работал в их пользу.

– Напусти на себя загадочности, – советовал Арбели, когда они готовили свой план. – Побольше рассуждай про пустыню. Это произведет впечатление. И кстати, – вдруг спохватился он, – тебе ведь понадобится имя.

– Какое ты предлагаешь?

– Какое-нибудь обычное, я думаю. Башир, Ибрагим, Ахмад, Гарун, Хуссейн, – начал перечислять он.

– Ахмад? – прервал его Джинн.

– Тебе нравится? Хорошее имя.

Джинну не то что нравилось, но просто оно вызывало меньше возражений, чем другие. Если вслушаться, его повторяющееся «а» немного напоминало шум ветра в пустыне, словно было эхом его прошлой жизни.

– Если ты считаешь, что мне нужно имя, сойдет и это.

– Имя тебе определенно необходимо – значит, будешь Ахмадом. Только не забывай отзываться, когда услышишь.

Джинн и не забывал, но эта часть придуманного Арбели плана, единственная, вызывала у него чувство неловкости. Смена имени означала такие глубокие перемены в нем, словно и сам он стал совсем другим, не тем, чем был прежде. Он старался поскорее прогонять эти мрачные мысли, думать вместо этого о правдоподобии своей истории и о правилах вежливости, но все-таки часто, вполуха слушая болтовню гостя, он повторял про себя свое настоящее имя и находил в его звуке утешение.

* * *

Из всех услышавших от Мариам Фаддул о новом помощнике жестянщика только один человек не проявил к рассказу никакого видимого интереса; это был Махмуд Салех, мороженщик с Вашингтон-стрит.

– Вы уже слышали? – завела она разговор. – У Бутроса Арбели новый подмастерье.

В ответ Салех промычал что-то невнятное и, зачерпнув в чане порцию мороженого, положил ее в вазочку. Они разговаривали на тротуаре напротив кофейни Мариам. Перед Салехом стояла небольшая очередь из детей, сжимающих в кулаках медяки. Он протягивал ладонь, ребенок клал в нее монетку и взамен получал сладкий шарик, а монетка отправлялась в карман к мороженщику, который старательно отводил глаза от лица ребенка, и лица Мариам, и от всего остального, кроме своего стоящего на тротуаре чана.

– Спасибо, мистер Махмуд, – бормотал малыш, вытягивая из специального стакана, прикрепленного к тележке, ложечку, и продавец знал, что подобной вежливостью обязан только присутствию Мариам.

– Он бедуин, – продолжала Мариам. – Довольно высокий, надо сказать.

Салех промолчал. Он вообще говорил очень мало. Но Мариам, единственную из соседей, его молчание нисколько не обескураживало. Она знала, что он слушает.

– А у вас в Хомсе были знакомые бедуины, Махмуд? – не унималась она.

– Немного, – ответил мороженщик и снова протянул руку.

Еще одна монетка, еще одна порция. На родине, в Хомсе, он старался держаться подальше от бедуинов, живших на окраине города, ближе к пустыне. Он считал их бедным, угрюмым и суеверным народом.

– А я никогда не была знакома ни с одним, – вздохнула Мариам. – Он интересный человек. Говорит, что проник на судно и сбежал в Америку просто так, шутки ради, но чувствую, он чего-то недоговаривает. Бедуины ведь вообще довольно скрытные люди, верно?

Салех опять что-то промычал. Мариам Фаддул ему нравилась – можно сказать, она была единственным его другом, – но он бы предпочел поговорить о чем-нибудь другом. Разговор о бедуинах будил воспоминания, которые лучше лишний раз не тревожить. Он заглянул в чан. Мороженого оставалось всего на три порции.

– Сколько вас здесь? – спросил он, не поднимая головы. – Посчитайтесь, пожалуйста.

– Один, два, три, – раздались детские голоса, – четыре, не толкайся – я первый пришел, пять, шесть.

– Номерам от четвертого до шестого придется прийти попозже.

Вздохи разочарования от несостоявшихся покупателей и топот убегающих детских ножек.

– Запомните свой номер в очереди! – крикнула Мариам им вслед.

Салех обслужил оставшуюся троицу и дождался лязга жестяных вазочек, которые дети возвращали на место на тележке, поверх мешка с каменной солью.

– Ну, мне надо возвращаться в кофейню, – заявила Мариам. – Саиду сейчас понадобится моя помощь. Удачного дня, Махмуд.

Она ласково пожала его руку, а он краем глаза успел заметить оборки на ее блузке и взмах темной юбки – Мариам ушла.

Он пересчитал монетки в кармане: достаточно, чтобы закупить продукты для новой партии. Но день уже повернул к вечеру, а солнце прикрыла пелена облаков. К тому времени, когда он купит молоко, лед и приготовит мороженое, дети его уже не захотят. Лучше уж подождать до завтра. Он закрепил свое имущество на тележке и медленно начал толкать ее вдоль тротуара. Голова его была низко опущена, и он видел только, как мерно двигаются его собственные ноги: черные на сером.

Соседи были бы поражены, скажи им кто, что человек, которого они называли Мороженщиком Салехом, или Безумным Махмудом, или просто «этим странным мусульманином, который торгует мороженым», звался когда-то доктором Махмудом Салехом и был одним из самых уважаемых врачей в большом городе Хомсе. Сын состоятельного купца, он с самого детства жил в достатке и мог выбрать себе занятие по вкусу. Махмуд отлично учился в школе и легко поступил в медицинский университет в Каире. В это время прямо на его глазах в выбранной им

профессии происходили чудесные изменения. Один англичанин установил, что можно легко избежать послеоперационной гангрены, если перед использованием окунать инструменты в раствор карболовой кислоты. Вскоре после этого другой англичанин обнаружил бесспорную связь между холерой и неочищенной питьевой водой. Отец Салеха всем сердцем одобрял выбранную им профессию, но очень рассердился, когда узнал, что в Каире его собственный сын занимается препарированием трупов: неужели мальчик не понимает, что в день Страшного суда эти люди восстанут изуродованными, с открытыми всем взорам внутренностями? На это сын сухо отвечал, что, если уж понимать воскрешение столь буквально, человечество возродится в таком разложившемся виде, что следы вскрытия на этом фоне будут незаметны. На самом деле он и сам испытывал на этот счет некоторые сомнения, но гордость не позволяла ему признаться в них.

Закончив обучение, Салех вернулся в Хомс и приступил к работе. Условия жизни его пациентов приводили доктора в ужас. Даже самые состоятельные семьи понятия не имели о современной гигиене. Больных держали в душных запертых комнатах. Часто Салех начинал с того, что, невзирая на протесты домочадцев, распахивал окна. Несколько раз ему попадались пациенты со следами ожогов на груди и руках – старый обычай, призванный излечить больного от меланхолии и раздражительности. Доктор перебинтовывал раны, а потом отчитывал родных пациента, рассказывая им об опасностях сепсиса.

Хотя иногда ему казалось, что эта борьба безнадежна, были в жизни Салеха и свои радости. Сводная сестра его матери как-то заговорила с ним о своей дочери, которая на глазах доктора превратилась из девочки в красивую и кроткую молодую женщину. Вскоре они поженились, и у них родилась собственная дочь: прелестный ребенок, который вставал своими ножками на ноги отца и заставлял его так гулять по двору, рыча при этом, как лев. Даже когда отец Салеха умер и лег в могилу рядом с его матерью, доктор утешался тем, что отец гордился им, несмотря на все несходства в их взглядах.

Так мирно шли год за годом, пока однажды в дом Салеха не явился богатый землевладелец. Он сказал доктору, что в семье бедуинов, работающих на его земле, заболела девочка. Вместо того чтобы пригласить к ней доктора, они позвали беззубую старуху-знахарку, которая творит над девочкой какие-то чудовищные обряды. Не в силах смотреть на страдания ребенка, землевладелец сам отправился за врачом и пообещал заплатить ему из собственного кармана.

Семья бедуинов жила в хижине на самой окраине города, и тщательно обработанные и ухоженные посевы являли странный контраст беспорядку и грязи в доме. Мать девочки встретила Салеха в дверях. На ней были тяжелые черные одежды, а щеки и подбородок, как это принято у ее народа, украшали татуировки.

– Это ифрит, – заявила она. – Его надо изгнать.

Салех ответил, что прежде всего ребенка надо осмотреть. Он велел женщине принести таз с кипяченой водой и зашел в хижину.

Девочка корчилась в конвульсиях. Знахарка успела разбросать по полу пригоршни сухих трав и теперь сидела, скрестив ноги, на полу и что-то бормотала себе под нос. Не обращая на нее внимания, Салех попытался прижать больную к постели и приподнять ей хотя бы одно веко, чтобы заглянуть в глаз: это удалось ему как раз в тот момент, когда старуха закончила бормотать свои заклинания и трижды плюнула на пол.

На мгновение ему показалось, что он увидел в глазу ребенка нечто метнувшееся в его сторону...

А потом это нечто уже было внутри его головы и билось там, пытаясь вырваться...

Нестерпимая боль пронзила его. Все вокруг накрыла темнота.

Когда сознание вернулось к Салеху, на губах его была пена, а во рту – кожаный ремешок. Он закашлялся и выплюнул его.

– Это чтобы ты не откусил себе язык, – объяснила знахарка глухим голосом, который доносился к нему словно издалека.

Доктор открыл глаза и увидел склонившуюся над ним женщину с лицом сухим и бесплотным, словно луковая кожура, и с зияющими дырами там, где должны быть глаза. Он страшно закричал, отвернулся, и его вырвало.

Хозяин участка скоро привел одного из коллег доктора. Вместе они погрузили еще не пришедшего в себя Салеха в телегу и отвезли домой, где врач смог тщательно осмотреть его. Окончательный диагноз так и не был поставлен: подозревали кровоизлияние в мозг или какую-то скрытую до поры до времени болезнь, чем-то внезапно спровоцированную. Никакой ясности.

С этого дня Салех словно отстранился от мира. Ощущение нереальности овладело всеми его чувствами. Глаза уже не могли правильно оценивать расстояние: он протягивал за чем-нибудь руку и не мог дотянуться до предмета. Руки его дрожали, и он больше не мог держать инструмента. Иногда у него случались припадки, и тогда он падал на землю, а на губах выступала пена. Хуже всего было то, что он больше не мог без тошнотворного, непреодолимого ужаса смотреть на человеческие лица, мужские и женские, чужие и любимые.

Шли недели и месяцы. Салех пытался вернуться в профессию, выслушивал жалобы, ставил простейшие диагнозы. Но скрыть его болезнь было невозможно, и постепенно последние пациенты оставили его. Семье пришлось ограничивать себя в средствах, но скоро закончились и последние сбережения. Старая одежда все больше изнашивалась, а дом разваливался без ремонта. Салех целые дни проводил в комнате с задернутыми шторами и непрерывно читал медицинские книги, с трудом разбирая текст, в надежде найти какое-то объяснение.

Его жена заболела. Сначала она скрывала это, потом у нее началась лихорадка. Бывшие коллеги предлагали помощь, а он только беспомощно слушал их, сидя у ее постели. Ей становилось все хуже. Однажды ночью, в жару и бреде, она приняла его за своего давно умершего отца и попросила мороженого. Что он мог сделать? В буфете давно стояла мороженица, купленная в былые счастливые дни. Он прикатил ее на кухню и отмыл от грязи и пыли. Курицы, за которыми ухаживала его дочь, тем утром отложили несколько яиц. Сахар в доме еще был, а также соль, лед и молоко от соседской козы.

Очень осторожно, чтобы не расплескать и не рассыпать чего-нибудь, он разложил продукты на столе, молотком измельчил соль, взбил яйца с молоком и сахаром. Потом он смешал измельченный лед с солью и обложил этой смесью внутренний цилиндр, куда вылил ингредиенты будущего мороженого. Он и сам не понимал, откуда знает все это. Конечно, он видел, как жена делает мороженое, желая порадовать дочь и ее подруг, но никогда не обращал особого внимания. Сейчас же он действовал так, словно занимался этим всю жизнь. Он закрыл внутренний цилиндр крышкой и, взявшись за ручку, начал вращать его. Приятно было снова делать что-то полезное. Постепенно смесь начала густеть. Чистый рабочий пот выступил на лбу и под мышками доктора. Он прекратил вращение, когда почувствовал, что пора.

Вернувшись в спальню с маленькой вазочкой мороженого, Салех обнаружил, что жену сильно знобит. Он отставил вазочку в сторону и долго сидел у кровати, держа ее за руку. Она так и не пришла в сознание, а на рассвете умерла. Салех не узнал признаков начавшейся агонии и не успел разбудить дочь, чтобы та попросилась с матерью.

На следующий день Салех в одиночестве сидел на кухне, пока сестры жены обмывали и обряжали ее тело. Кто-то окликнул его и опустился рядом с ним на колени. Это была его дочь. Она обняла отца и прижалась к нему, а он закрыл глаза и постарался вспомнить ее лицо таким, каким видел его до своей болезни: темные волосы, блестящие глаза и нежная россыпь веснушек на щеках. Потом она заметила чан с мороженым:

– Кто это сделал, отец?

– Я. Для твоей матери.

Она не удивилась, а только зачерпнула пальцем немного мороженого и отправила его в рот. Ее покрасневшие глаза широко раскрылись от удивления.

– Очень вкусно.

После этого Салех уже не думал о том, чем заняться дальше. Он должен был прокормить себя и дочь. Продав дом, они поселились с семьей брата покойной жены, но те не были богаты, и Салех не хотел бесконечно пользоваться их добротой. Поэтому, обмотав вокруг головы белый платок от солнца, доктор Махмуд Салех превратился в Мороженщика Салеха. Скоро все привыкли к его фигуре, вышагивающей по улицам Хомса с небольшой тележкой, увешанной колокольчиками. «Мороженое! Мороженое!» – кричал он. Двери отворялись, и из них, сжимая монетки, выбегали дети. Салех старательно отворачивал голову, чтобы не видеть их прозрачных на солнце тел и страшных бездонных дыр на месте глаз.

Он стал самым успешным продавцом мороженого в округе. Отчасти благодаря качеству его продукта. Все соглашались, что его мороженое не в пример нежнее прочих. Другие продавцы клали чересчур много льда, и мороженое слишком быстро замерзло, становясь зернистым и грубым. Другие слишком мало крутили цилиндр, и вместо густого крема детям доставался какой-то полузамерзший суп. У Салеха оно всегда было идеальным. Но небывалой популярностью он был обязан еще и своей трагической истории. «Вон идет Мороженщик Салех, который был раньше известным врачом». Для детей покупка у Салеха была настоящим приключением. Упадет ли он сегодня на землю и пойдет ли у него изо рта пена? Когда этого не происходило, они чувствовали себя обманутыми, хотя мороженое было, как всегда, превосходным и служило некоторым утешением. Чувствуя приближение припадка, Салех предупреждал детей: «Не пугайтесь» – и сам словно со стороны слышал, как неясно звучит его речь. Потом в глазах у него темнело, и он оказывался в ином мире, полном шепота, видений и странных ощущений. Очнувшись, он никогда не мог их вспомнить и сознавал только, что лежит лицом в пыли, а все его покупатели разбежались.

Так он провел несколько лет: его голос охрип, ноги были сбиты, а волосы поседели. Все деньги, какие мог, Салех откладывал для дочери, потому что рассчитывать на щедрый калым они больше не могли. И потому оба очень удивились, когда для серьезного разговора к Салеху явился владелец местной лавки. Дочь Салеха, объявил он, поразила его своей редкой и беззаветной любовью к отцу, и лучшей жены и матери для своих детей он не желал. Соседи были о нем не слишком высокого мнения, и славился он главным образом своими не слишком дружелюбными высказываниями в их адрес, но он хорошо зарабатывал и, кажется, был незлым.

– Если бы Создатель пообещал выполнить только одно мое желание, – сказал Салех дочери, – я бы попросил Его выстроить перед тобой всех принцев мира и объявить: «Выбирай любого, ибо нет такого, кто был бы слишком богат или благороден для тебя».

Он говорил все это, не открывая глаз: прошло уже восемь лет с тех пор, когда он в последний раз видел лицо своей дочери.

Она поцеловала его в лоб и сказала:

– Тогда я должна благодарить Создателя за то, что Он не предлагает исполнить твоё желание, ведь я слышала, из принцев получаются очень плохие мужья.

Тем же летом был подписан брачный договор, а меньше чем через год она умерла от кровотечения при родах; ребенок задохнулся и тоже погиб. Акушерка не смогла их спасти.

Тетки подготовили ее тело к похоронам, как раньше готовили тело ее матери: они обмыли, умастили его благовониями и обернули в пять белых простыней. Салех стоял в открытой могиле, когда ему передали на руки тело дочери. После беременности оно потяжелело и словно стало податливее и мягче. Ее голова лежала у него на плече, и он не отрываясь смотрел на прикрытый белой тканью пейзаж ее лица, на прямую линию носа и провалы глаз. Он бережно положил ее на правый бок, лицом к Мекке и Каабе. Ароматы, пропитавшие саван, смешивались с резким и чистым запахом сырой земли. Он понимал, что все ждут, но не спе-

шил подниматься. В могиле было прохладно и тихо. Он протянул руку и провел пальцами по шершавой глиняной стенке, почувствовал бороздки от лопаты могильщика и выступившую на поверхности влагу. Затем подогнул колени и сел на землю и, наверное, лег бы рядом с дочерью, если бы его не вытащили из могилы, подхватив под мышки: зять и имам решили, что лучше поскорее закончить этот спектакль.

Тем летом, хоть оно и выдалось очень жарким, покупателей у Салеха стало заметно меньше. Он слышал, как, проходя мимо, родители шепчут детям: «Нет, милый, только не у мистера Салеха». Он понимал, что теперь его не просто жалели, но боялись: он был проклят.

Он не мог вспомнить, когда ему впервые пришла в голову мысль собрать все оставшиеся деньги и уехать в Америку, но скоро она завладела им целиком. Семья его жены решила, что он окончательно свихнулся. Как он выживет в Америке совершенно один, если он по родному Хомсу ходит с трудом? Зять объяснял ему, что в Америке нет мечетей и там он не сможет правильно молиться. На это Салех ответил, что молитвы ему больше не нужны и что их пути с Аллахом разошлись.

Никто из них не понимал, зачем он это делает. А для Салеха Америка не должна была стать новым началом. И он не собирался выживать там. Он собирался взять свою мороженицу, пересечь океан и там умереть от болезни, голода или, возможно, от какой-нибудь случайности. Он хотел закончить свою жизнь вдали от сочувствия, жалости и любопытных взглядов, среди незнакомцев, которые знают, кто он, но не знают, кем он когда-то был.

И он уехал, сев на пароход в Бейруте. Рейс был невыносимо тяжелым, он задыхался на тесной, пропитанной миазмами нижней палубе, не спал ночами, слушая кашель других пассажиров, и прикидывал, чем он скорее заразится. Тифом? Холерой? Но на берег он сошел целым и невредимым и тут же подвергся унижительному допросу и осмотру на острове Эллис. Двум молодым братьям-близнецам он отдал свои последние гроши, чтобы они выдали его за своего дядю, и юноши сдержали слово, пообещав чиновнику, что станут помогать Салеху и не позволят ему впасть в нищету. Медицинский осмотр он успешно прошел только потому, что врач не сумел установить, что именно с ним не так. Братья отвезли его в Маленькую Сирию и, не слушая протестов совершенно растерявшегося от всех этих перемен Салеха, нашли ему жилье: маленькую комнатку в пропахшем гнилыми фруктами подвале, за которую просили сущие гроши. Свет в нее проникал лишь через крошечное, забранное решеткой окошко под самым потолком. Потом они провели его по окрестностям и показали, где можно купить молоко, соль, лед и сахар. А на следующий день, закупив несколько мешков всякой галантерейной мелочи, пожелали ему удачи и отправились в место под названием Гранд-Рапидс. После их отъезда Салех обнаружил у себя в кармане два доллара мелочью, которых раньше там не было. Он был так измучен путешествием и морской болезнью, что у него даже не осталось сил рассердиться.

И так он снова стал Мороженщиком Салехом. Улицы Нью-Йорка были многолюднее и опаснее, чем в Хомсе, но его маршрут тут был короче и проще. Обычно он делал небольшую петлю: от Вашингтон-стрит на юг до Сидар-стрит, потом от Гринвича на север до Парка и опять на Вашингтон-стрит. Дети так же быстро, как их ровесники в Хомсе, научились класть монетки в протянутую руку и никогда не заглядывать ему в глаза.

Однажды раскаленным летним утром он накладывал мороженое в маленькую жестяную вазочку, когда чья-то мягкая рука вдруг коснулась его локтя. От удивления Салех оглянулся и успел заметить женскую щеку. Он поспешно отвернул голову.

– Сэр? – позвал его нежный голос. – Я принесла вам воды. Сегодня такая жара.

Его первым желанием было сказать «нет». Но жара действительно стояла невыносимая, а такой влажности он не мог и припомнить. У него болела голова, а горло словно распухло. Он вдруг понял, что не в силах отказаться от воды.

– Спасибо, – пробормотал он наконец и протянул руку в сторону голоса.

Наверное, у нее был удивленный вид, потому что детский голос тут же объяснил:

– Дайте ему стакан прямо в руку, он никогда ни на кого не смотрит.

– Понятно, – сказала женщина и осторожно вложила стакан в его руку.

Вода была холодной и чистой, и он выпил всю.

– Спасибо, – сказал он, возвращая ей стакан.

– Пожалуйста. Могу я узнать, как вас зовут?

– Махмуд Салех. Я из Хомса.

– А я Мариам Фаддул. Мы стоим как раз напротив моей кофейни. Мы с мужем и живем здесь же, на втором этаже. Если вам что-нибудь понадобится – вода или просто место, где можно посидеть в жару, – заходите, пожалуйста.

– Спасибо, мадам.

– Прошу вас, называйте меня просто Мариам. – По ее голосу он понял, что она улыбается. – Все меня так зовут.

После этого Мариам частенько выходила, чтобы поболтать с ним и с детьми, когда он со своей тележкой медленно брел мимо ее кофейни. Похоже, все дети любили Мариам: она разговаривала с ними серьезно, как со взрослыми, помнила все имена и каждую мелочь их жизни. Когда Мариам стояла рядом с ним, у него сразу же прибывало покупателей: подходили не только дети, но и их матери, и даже другие продавцы, и фабричные рабочие, возвращающиеся домой после смены. Маршрут Салеха теперь был куда короче, чем в Хомсе, но мороженого он продавал столько же. Иногда это даже раздражало его: он приехал в Америку совсем не для того, чтобы преуспеть, но, похоже, сама Америка не давала ему пропасть.

Проходя со своей тележкой мимо мастерской Арбели, он вспомнил слова Мариам о новом подмастерье-бедуине. Раньше он никогда не заходил в мастерскую, только чувствовал, как обдает его горячий воздух, когда он проходит мимо открытой двери. Сейчас ему на мгновение захотелось заглянуть внутрь. Но тут же, разозлившись на себя за ненужные воспоминания, он решил больше не думать об этом и смотрел уже только на свои ноги, неуклонно шагающие в сторону его подвального жилища.

* * *

Дожди, три дня поливавшие Сирийскую пустыню, кончились. Вода впиталась в землю, и долина между склонами холмов скоро покрылась зеленым ковром молодой травы. Для бедуинских племен этот короткий отрезок времени был очень важен: теперь они могли выгнать свой скот на пастбища и дать ему хорошенько наестся перед началом иссушающей жары.

Случилось так, что однажды утром бедуинская девочка по имени Фадва аль-Хадид выгнала свое маленькое козье стадо пастись на травке рядом с их семейным стойбищем. Напевая что-то себе под нос и изредка стегая отбившуюся козу прутиком, она забралась на вершину невысокого холма и тут прямо перед собой увидела огромный сверкающий дворец, весь сделанный из стекла.

На секунду девочка застыла, не веря своим глазам, но сомнений быть не могло: это действительно дворец и он стоит прямо перед ней. Вне себя от восторга, она быстро согнала коз в кучку и погнала их к отцовскому шатру, крича на бегу о неизвестно откуда взявшемся сверкающем чуде.

– Это был мираж, – заявил ее отец Джалал ибн Карим аль-Хадид, которого все в его клане называли Абу Юсуфом.

Мать девочки, Фатима, только фыркнула, покачала головой и вернулась к заботам о младенце, своем младшем сыне. Но Фадва, которой исполнилось пятнадцать, упрямая и решительная, уже за руку тащила отца вон из шатра, чтобы он взглянул на чудо вместе с ней.

– Дочка, пойми, не может там быть никакого дворца.

– Ты что, думаешь, я маленькая? Не смогу отличить мираж от настоящего? – настаивала она. – А дворец был настоящим, и я видела его, как тебя.

Абу Юсуф вздохнул. Он знал это выражение на лице дочери и понимал, что никаких его доводов она не слышит. Хуже того, он знал, что сам виноват в этом. Их клану в последнее время везло, и, наверное, поэтому он чересчур потакал ей. Зимы были теплыми, а дожди начинали лить вовремя. Жены обоих его братьев родили здоровых сыновей. И как-то в конце прошлого года, греясь на закате у пылающего костра и наблюдая, как вокруг суетятся, едят и играют его родные, он решил, что можно и подождать с замужеством Фадвы. Пусть девочка проведет еще год с семьей, прежде чем распрощаться с ней навсегда. Сейчас Абу Юсуф уже подумывал о том, что его жена была права и он избаловал девчонку сверх всякой меры.

– Нет у меня времени, чтобы убивать его на чепуху! – резко сказал он. – Скоро мы с братьями погоним овец на пастбище. Если там есть дворец, мы его увидим. А сейчас иди и помоги матери.

– Но...

– Иди и делай, как я сказал!

Он редко кричал на дочь, и она, обиженная, не посмела возражать. Вместо этого она молча повернулась и пошла в женский шатер.

Фатима, которая все слышала, вошла туда вслед за дочерью, укоризненно цокая языком. Фадва отвернулась, чтобы не смотреть ей в глаза. Она опустилась на колени перед низким столиком, где поднималось тесто, и, отрывая от него куски, начала кулаком расплющивать их на столешнице, прикладывая куда больше силы, чем для этого требовалось. Мать вздохнула, слушая производимый ею шум, но ничего не сказала. Пусть девчонка устанет, а не то будет нить все утро.

Женщины стряпали, доили и чинили одежду, а солнце совершало свой ежедневный небесный переход. Фадва искупала своих маленьких братьев, выслушав при этом обычную порцию рева и жалоб. Стемнело, а мужчины еще не вернулись. Лицо у Фатимы стало напряженным. Бандиты в эту часть долины заглядывали нечасто, но три человека с большим стадом представляли собой очень уж легкую мишень.

– Прекрати! – прикрикнула она на Фадву, которая пыталась одеть извивающегося и верещащего малыша. – Я сама сделаю, раз ты не можешь. Иди лучше займись своим свадебным платьем.

Фадва подчинилась, хотя, будь ее воля, охотно выбрала бы любое другое занятие. Вышивала она плохо – у нее не хватало терпения. Она умела ткать и могла не хуже Фатимы починить шатер, но вышивка?! Крошечные стежки, которые должны лечь именно так, а не иначе. Работа была очень скучной, и от нее быстро уставали глаза. Уже не один раз, проверив результат, Фатима приказывала дочери распороть все и начать сначала. Никогда она не потерпит, чтобы ее дочь выходила замуж в таком безобразном наряде.

Сама Фадва с удовольствием швырнула бы свадебное платье в огонь и еще пела бы, пока оно горело. Жизнь в их поселении с каждым днем становилась все скучнее, но это было ерундой по сравнению с ужасом, который она испытывала при мысли о замужестве. Она знала, что избалована; знала, что отец ее любит и никогда не выдаст только ради выгоды за человека злого или глупого. Но ведь все могут ошибиться, даже ее отец. И потом, расстаться со всеми, кого она знает, жить с совсем чужим человеком, лежать под ним и беспрекословно слушаться его родных – разве это не похоже на смерть? Конечно, ведь она больше не будет Фадвой аль-Хадид. Она станет кем-то иным, совсем другой женщиной. И ничего тут не поделаешь: рано или поздно ей придется выйти замуж. Это так же верно, как то, что по утрам восходит солнце.

Она подняла голову, услышав, как радостно вскрикнула мать. Мужчины со стадом возвращались домой. Овцы брели покачиваясь, сонные после обильной еды и долгого перегона.

– Хороший день, – крикнул издали дядя Фадвы. – Трава такая, что лучше не бывает.

Скоро мужчины сидели за ужином, руками отрывая куски хлеба и сыра. Женщины подносили еду, а потом ушли в свой шатер, чтобы там съесть то, что осталось. Муж благополучно вернулся, и настроение Фатимы заметно улучшилось; она смеялась со своими невестками и восхищалась младенцем, которого кормила одна из них. Фадва молча ела и не сводила глаз с мужского шатра и крепкой спины отца.

Позже вечером Абу Юсуф отвел ее в сторону:

– Мы прошли мимо того места, о котором ты говорила. Я внимательно смотрел, но ничего не увидел.

Фадва кивнула; она расстроилась, но несколько не удивилась. Она и сама уже начала сомневаться в существовании дворца.

Абу Юсуф улыбнулся, глядя на ее расстроенное лицо:

– Я тебе рассказывал о том, как видел целый караван, которого на самом деле не было? Мне было тогда столько же лет, сколько тебе. Как-то утром я пас овец и вдруг увидел огромный караван, который спускался ко мне по склону холма. Человек сто, не меньше, и они подходили все ближе и ближе. Я видел глаза людей и слышал дыхание верблюдов. И я побежал домой, чтобы рассказать своим. А овец оставил на пастбище.

Фадва широко раскрыла глаза. Такого легкомыслия она от него не ожидала, хотя он и был тогда совсем молод.

– Когда я вернулся вместе с отцом, от каравана не осталось и следа. И от моих овец тоже. Мы весь день разыскивали и собирали их, а некоторые охромели, карабкаясь по камням.

– А что сказал тебе отец?

Даже спрашивать было страшно. Карим ибн Мурхаф аль-Хадид умер задолго до ее рождения, но рассказы о его тяжелом нраве стали в их клане легендой.

– Сначала ничего не сказал, просто выпорол меня. А позже он рассказал мне *свою* историю. Как однажды, еще маленьким, он играл в женском шатре и вдруг поднял глаза и увидел незнакомую женщину, одетую в синее. Она стояла на границе стойбища, улыбалась и тянула к нему руки. Он даже услышал, как она зовет его и просит поиграть с ней. Девчонка, которой поручили следить за малышом, уснула. Он спокойно вышел из шатра и пошел за женщиной в пустыню – один, в самый летний полдень.

– И он выжил! – ахнула Фадва.

– Едва выжил. Они искали его несколько часов, и за это время у него уже кровь закипела. Он потом долго болел. Он сказал мне, что поклялся бы именем отца, что женщина была настоящая. А сейчас, – улыбнулся он, – у тебя появилась история, которую ты будешь рассказывать *своим* детям, когда они прибегут к тебе и станут кричать, что видели озеро чистой воды посреди высохшей долины или стаю джиннов в небе. Вот тогда ты и расскажешь им о прекрасном сверкающем дворце и о своем ужасном, упрямом отце, который отказался тебе поверить.

– Ты знаешь, что я такого никогда не скажу! – улыбнулась Фадва.

– Может, и не скажешь. А теперь, – он поцеловал ее в лоб, – иди доделывай свою работу, дочка.

Он смотрел ей вслед, пока она шла к женскому шатру. Улыбка его сначала потускнела, а потом и вовсе погасла. Он не был честен с дочерью. Рассказы о караване и приключении его отца были правдивыми, но днем, гоня овец через холм, Абу Юсуф оглянулся и на секунду ослеп при виде сверкающего дворца в долине. Он моргнул – и видение исчезло. Он долго смотрел на пустое место и убеждал себя, что это солнечный свет сыграл с его зрением злую шутку. И все-таки он был потрясен. Как и говорила дочь, дворец не был похож на размытый, колеблющийся в воздухе мираж; Абу Юсуф ясно различил мельчайшие подробности: шпили и зубчатые стены и чисто выметенный внутренний двор. А чуть в стороне от распахнутых ворот стоял человек и смотрел прямо на него.

6

Был уже конец сентября, а безжалостная летняя жара все не хотела сдаваться. В полдень улицы города становились почти безлюдными: все норовили спрятаться в тени под каким-нибудь навесом. Камни и кирпичи Нижнего Ист-Сайда, весь день впитывавшие жар, на закате начинали отдавать его. Железные трясучие лестницы на задних стенах домов превращались в вертикальные спальни: жильцы вытаскивали свои матрасы на площадки или укладывались спать на крышах. Воздух напоминал горячий протухший бульон, и вдыхать его можно было только через силу.

Десять дней покаяния были совсем невыносимыми. Синагоги стояли полупустые: многие предпочитали молиться дома, где можно хотя бы открыть окно. Канторы с побагровевшими лицами пели всего для нескольких самых набожных прихожан. В Иом-кипур, праздник праздников, некоторые молящиеся, ослабленные жарой и постом, падали в обморок прямо во время службы.

Впервые со времени своей бар-мицвы равви Мейер не соблюдал пост в Иом-кипур. Старикам это позволялось, но равви все равно тяжело переживал такую уступку возрасту. Он всегда считал пост кульминацией трудной духовной работы, проводимой за Десять дней покаяния, символом очищения души. И вот в этом году он вынужден был признать, что его тело чересчур ослабло. Соблюдение поста стало бы теперь «плохой записью» в Книге жизни, знаком суетности и отказом смиряться с законами реальности. Сколько раз он сам предостерегал свою паству от этого греха? И все-таки завтрак в день Иом-кипура не доставил ему никакого удовольствия, а лишь вызвал неясные угрызения совести.

Немного утешало только то, что еды было очень много: за последнее время у Голема появилось новое увлечение – кулинария.

Собственно, это была идея самого равви, и он упрекал себя только за то, что не подумал об этом раньше. Впервые она пришла ему в голову, когда он однажды зашел в пекарню и в задней комнате заметил молодого человека, который скатывал тесто в жгуты, а потом заплетал их в косички, чтобы испечь праздничные халы. Буханка за буханкой выходили из его ловких рук. Быстрые, почти автоматические движения говорили, что он делает эту работу уже не первый год, и в тот момент равви показалось, что сам парень чем-то похож на голема. Правда, големы не едят, но это же не значит, что они не могут печь?

В тот же день он принес домой толстую и солидную книгу на английском и вручил ее Голему.

– «Сборник рецептов Бостонской кулинарной школы», – удивленно прочитала она и с трепетом открыла толстый том.

К ее удивлению, книга оказалась простой, практичной и ясно написанной. В ней не было ничего непонятного – только ясные и подробные инструкции. Она вслух читала названия блюд равви, сначала по-английски, а потом на идише, и очень удивилась, когда он заявил, что даже не слышал о многих из них. Как выяснилось, он никогда не пробовал ни финдонскую пикшу – судя по всему, как-то особенно приготовленную рыбу, – ни ньокки *a la romaine*, ни картофель дельмонико, ни один из сложных омлетов с непроизносимыми названиями. Она тут же объявила, что приготовит ему обед. Может, жареную индейку со сладким картофелем и молодой кукурузой? Или суп из омара на первое, классический бифштекс на второе и клубничный пирог на десерт? Равви поспешно, хоть и с некоторым сожалением, объяснил ей, что все эти блюда слишком дорогие для их скромного хозяйства, а омар – еще и не кошерный. Может, стоит начать с чего-нибудь попроще, а потом уже переходить к подобным деликатесам. Он, например, давно уже мечтает о свежее испеченном кексе к кофе. Как она считает, это не слишком сложно для начала?

И вот на следующее утро женщина вышла из дому и отправилась в бакалейную лавку на углу. На полученные от равви деньги она купила яйца, сахар, соль, муку, несколько пакетиков со специями и упаковку очищенных грецких орехов. Впервые со времени своего прибытия в Нью-Йорк она оказалась на улице совершенно одна. Она успела привыкнуть к окрестностям, потому что вот уже несколько недель они с равви выходили на прогулки, – он наконец решил, что ее потребность в жизненном опыте куда важнее соседских сплетен. Во время таких прогулок он не спускал с нее глаз. По ночам ему стало часто сниться, что он теряет ее в толпе, потом в панике ищет, бегая по улицам, а потом находит в окружении разъяренной толпы, громко требующей уничтожить ее.

Конечно, женщина чувствовала эти сны, хоть и не читала их так ясно, как его мысли в часы бодрствования. Но она понимала, что равви боится за нее и немного боится ее. Она огорчалась и старалась об этом не думать. Какая польза от того, что она станет носиться со своей печалью и одиночеством?

Истово выполняя все инструкции из книги, она испекла кекс, и первая попытка оказалась удачной. Ее приятно удивила простота задачи и волшебное превращение бесформенного жидкого теста во что-то плотное, теплое и ароматное. Равви съел два куса и объявил, что никогда не пробовал кекса вкуснее.

Днем она опять вышла из дому и накупила новых продуктов. Проснувшись на следующее утро, равви обнаружил, что весь стол в гостинной заставлен разнообразной выпечкой. Там были булочки и пончики, горы печенья и высокая стопка блинчиков. Плотная, пахнущая пряностями буханка оказалась коврижкой.

– Я и не думал, что можно столько всего наготовить за одну ночь! – воскликнул он весело, но она, разумеется, почувствовала его смятение.

– И вы не рады.

– Ну, может, не надо было печь так много, – снова улыбнулся он. – У меня ведь всего один рот и один желудок. Жалко будет, если все это зачерствеет и испортится. И знаешь, надо быть немного поэкономнее. Здесь ведь продуктов на целую неделю.

– Простите меня. Конечно, я даже не подумала...

Охваченная стыдом, женщина отвернулась от стола. А она-то, глупая, гордилась своими успехами! И ей было так приятно работать, проводить всю ночь в кухне, отмерять, смешивать, следить за маленькой духовкой, затопляющей и без того душную комнату своим жаром. А теперь ей было противно смотреть на результаты своего труда.

– Я все делаю не так! – с горечью выкрикнула она.

– Дорогая, не стоит себя корить, – поспешил успокоить ее равви. – Конечно, такие заботы для тебя внове, это я живу с ними не один десяток лет! – Вдруг ему в голову пришла удачная мысль. – И потом, все это не пропадет. Ты согласишься поделиться с другими этими вкусными вещами? У меня есть племянник Майкл, он сын моей сестры. Он управляет общежитием для только что прибывших иммигрантов, и ему каждый день надо кормить много-много ртов.

Ей хотелось сказать, что она испекла все это для равви, а не для каких-то чужих людей, но она понимала, что ей великодушно предлагают выход из неловкого положения.

– Конечно. Я буду рада.

– Ну и хорошо, – улыбнулся равви. – Давай сходим вместе и отнесем все это. Пора тебе поговорить с кем-нибудь, кроме мясника и бакалейщика.

– Вы думаете, я готова?

– Да.

Она взволновалась так, что ей трудно было устоять на месте.

– Какой он, ваш племянник? Что я ему скажу? А что он обо мне подумает?

Равви рассмеялся и поднял руку, чтобы остановить этот поток вопросов:

– Во-первых, Майкл – очень славный мальчик. Вернее, славный человек, потому что ему уже почти тридцать. Я уважаю его и восхищаюсь той работой, что он делает, хотя мы на многое смотрим по-разному. Жаль только, что... – Он замолчал, но сразу же вспомнил, что она все равно что-то поймет и почувствует, поэтому лучше объяснить, а не оставлять ее в замешательстве. – Когда-то мы с Майклом были очень близки друг с другом. Моя сестра умерла, когда он был еще маленьким, и мы с женой вырастили его. Много лет он был нам как сын. А потом... потом мы наговорили друг другу много горьких слов. К сожалению, это обычное непонимание между молодыми и старыми. И мы так до конца и не помирились. Теперь мы видимся гораздо реже.

Женщина понимала, что на самом деле все гораздо сложнее: не то что равви специально умолчал о чем-то, но просто она не в силах понять многое из случившегося между ним и племянником. Уже не впервые она почувствовала, какая глубокая пропасть разделяет их: его, прожившего больше семи десятков лет, и ее, чей опыт в жизни ограничивается одним месяцем.

– А насчет того, что вы скажете друг другу, ты не волнуйся, – продолжал равви. – Вам ведь не обязательно вести долгую беседу. Просто объяснишь ему, что за продукты мы принесли. Он тебя, конечно, спросит, откуда ты и как давно приехала в Нью-Йорк. Наверное, нам стоит немного порепетировать твои ответы. Скажешь ему, что недавно овдовела, что жила в городке недалеко от Данцига и что я – твой социальный помощник. Это ведь примерно соответствует истине.

Улыбка его была грустной, и она догадалась, что он сам не совсем верит в то, что говорит.

– Мне очень жаль, что ради меня вам придется лгать своему племяннику. Я этого не хочу.

Равви помолчал немного.

– Я только начинаю понимать, дорогая, что ради тебя мне придется... я *должен* буду делать очень многое. Но это мое решение. И ты должна простить мне небольшое сожаление, которое я почувствую, когда ради большой правды мне придется пойти на маленькую ложь. Ты и сама должна этому научиться. – Он еще помолчал, а потом продолжил: – Я еще не знаю, сможешь ли ты жить нормальной жизнью среди других людей. Но ты должна понять, что для этого тебе придется лгать всем, кого ты знаешь. Ты никому и никогда не должна рассказывать, кто ты на самом деле. Это большая тяжесть и ответственность, и я никому бы такого не пожелал.

Теперь замолчали они оба.

– Я о чем-то таком уже думала, – сказала наконец женщина, – только не до конца. Наверное, мне просто не хотелось верить в это.

Глаза у равви были влажными, но голос звучал ровно:

– Возможно, со временем эта ложь будет даваться тебе легче. И я стану помогать тебе, как смогу. – Он отвернулся и смахнул с глаз слезы и повернулся к ней уже с улыбкой. – А сейчас давай подумаем о чем-то более приятном. Я ведь должен буду представить тебя племяннику и назвать твое имя.

– У меня нет имени, – нахмурилась она.

– Вот и я о том же. Давно надо было назвать тебя как-то. Хочешь сама выбрать себе имя? Женщина немного подумала, а потом твердо сказала:

– Нет.

Равви не ожидал такого ответа.

– Но тебе ведь нужно имя.

– Знаю, – улыбнулась она, – но я хочу, чтобы его выбрали вы.

Ему хотелось возразить. Он надеялся, что, если она сама выберет имя, это станет первым шагом к независимости. Но потом ему в голову пришла другая мысль: ведь Голем во многих отношениях еще дитя, а дети не выбирают себе имена сами. Эта честь достается их родителям, и она поняла это быстрее и лучше, чем он.

– Хорошо, – согласился равви. – Мне всегда нравилось имя Хава. Так звали мою бабушку, а я ее очень любил.

– Хава, – медленно повторила женщина.

Звук «х» был легким и воздушным, «ава» напоминало вздох. Она несколько раз негромко повторила слово, будто пробуя его на вкус. Равви с любопытством наблюдал за ней.

– Тебе нравится? – спросил он.

– Да, – ответила она.

Ей правда нравилось.

– Тогда оно твое. – Он поднял над ее головой руки и закрыл глаза. – Господи, Боже наш, Оплот жизни и Защита нас из поколения в поколение, помоги дочери своей Хаве. Пусть жизнь ее протекает в мире и благоденствии. Пусть и она будет помощницей и отрадой для своих близких. Дай ей силы и мужества идти своей дорогой, которую Ты проложил для нее. Да будет такова благословенная воля Твоя.

– Аминь, – едва слышно прошептала женщина.

* * *

Для Майкла Леви это был далеко не лучший день. Он стоял за своим заваленным бумагами столом с затравленным видом человека, на которого одновременно обрушился десяток неразрешимых проблем. В руке он держал письмо, сообщавшее, что, к сожалению, дамы, добровольно предлагавшие помощь в воскресной уборке, больше не смогут этого делать, потому что их Женская рабочая лига раскололась, вслед за чем была распущена, а вместе с ней и Благотворительный комитет. За десять минут до этого старшая сестра-хозяйка объявила, что часть прибывших на этой неделе иммигрантов больна дизентерией и чистое постельное белье вот-вот закончится. И, кроме того, он, как всегда, почти физически ощущал присутствие в спальнях наверху двух сотен вновь прибывших, за чье здоровье и благополучие он отвечал.

Еврейский уютный дом был своего рода промежуточной станцией для тех, кто только что прибыл из Старого Света и нуждался в короткой передышке, чтобы собраться с духом и силами перед прыжком в Новый. Их пребывание в доме ограничивалось пятью днями, во время которых их кормили, одевали и обеспечивали ночлегом. Через пять дней они должны были уйти, освобождая место для новых приехавших. Некоторые селились у родственников, другие становились торговцами вразнос, третьи нанимались на фабрики и спали в ночлежках, в засаленных гамаках по пять центов за ночь. По возможности Майкл старался, чтобы его подопечные не попадали на предприятия с самыми каторжными условиями, так называемые потогонки.

Майклу Леви исполнилось двадцать семь лет. У него было розовое пухлое лицо, словно обреченное на вечную молодость. Только глаза выдавали возраст: морщины и темные круги говорили о множестве прочитанных книг и об усталости. Он был выше своего дяди Авраама и издали немного напоминал долговязое огородное пугало – результат нерегулярного питания и вечной беготни. Друзья шутили, что, со своими перепачканными чернилами манжетами и усталыми глазами, он больше похож на ученого, чем на социального работника. Он отвечал, что это вполне естественно, потому что на своей работе он узнает о жизни куда больше, чем узнал бы в любом университете.

Этот ответ звучал гордо, но было в нем и желание защитить себя. Его учителя, его тетка и дядя, его друзья и даже давно отсутствовавший в его жизни отец – все были уверены, что Майкл поступит в университет. И все они были поражены и разочарованы, когда юноша объявил, что хочет посвятить себя социальной работе и благополучию своих ближних.

«Конечно, все это очень хорошо и благородно, – говорил ему один из друзей. – Кто из нас не мечтает о том же? Но у тебя великолепные мозги. Используй *их*, чтобы помочь

людям. Нехорошо, если мозги будут простаивать». Этот самый друг писал для Социалистической рабочей партии. Каждую неделю его подпись появлялась под новым, написанным ровно в срок шедевром, прославляющим человека труда или освещающим новые тенденции на рынке братской солидарности.

Майкл обижался, но твердо стоял на своем. Его друзья писали статьи, ходили на марши, а потом за кофе и штруделем спорили о будущем марксизма, но за их риторикой Майкл чувствовал пустоту. Он не винил друзей за то, что они выбрали легкий путь, но следовать их примеру не хотел. Он был слишком чист душою и честен и так и не научился обманывать себя.

Единственным, кто понимал Майкла, был его дядя Авраам. Но вот других перемен в жизни племянника он принять никак не мог.

– Где это написано, что человек должен отречься от веры своих предков ради того, чтобы делать добро? – спрашивал равви, с ужасом глядя на непокрытую голову Майкла и на аккуратно подбритые височки на том месте, где когда-то были пейсы. – Кто научил тебя этому? Эти философы, которых ты читаешь?

– Да, и я с ними согласен. Возможно, не во всем, но по крайней мере в том, что, пока мы держимся за старую веру, нам не найти своего места в современном мире.

Дядя горько рассмеялся:

– Да уж, этот чудесный современный мир, который победил болезни, бедность и коррупцию! Ради него стоит поскорее сбросить оковы!

– Ну конечно, еще очень многое в нем надо менять! Но жить прошлым тоже нельзя...

Он замолчал. Главное уже было сказано. Лицо дяди потемнело, и Майкл понял, что у него только два пути: пойти на попятную и извиниться или продолжать стоять на своем.

– Извини меня, дядя, но я так чувствую. Я рассматриваю то, что мы называем верой, и вижу только суеверие и рабство. Я говорю сейчас про все религии, не только про иудаизм. Они просто создают лишние границы между людьми и превращают нас всех в рабов наших фантазий в то время, когда надо жить здесь и сейчас.

– И ты считаешь, что я обращаю людей в рабство? – с каменным лицом спросил дядя.

Инстинкт велел Майклу воскликнуть: «Конечно же нет! Только не ты, дядя!» – но он удержал рвущиеся с губ слова. Не хватало еще усугублять нанесенное дяде оскорбление лицемерием.

– Да, к сожалению, это так, – подтвердил он. – Я знаю, сколько добра ты делаешь, дядя. Вспомнить только все твои визиты к больным! А тот случай, когда сгорел магазин Розенов? Но источником добрых дел должно быть инстинктивное желание блага, а не фанатичная приверженность к своей нации. Помнишь тех итальянцев, у которых была мясная лавка рядом с Розенами? Что мы сделали для *них*?

– Я не могу помогать всем! – отрезал равви. – Может, я и виноват в том, что забочусь только о своих соплеменниках. Но это тоже естественный инстинкт, что бы там ни говорили твои философы.

– Но мы должны бороться с ним! Зачем же углублять разделяющую нас пропасть, цепляться за древние законы и лишать себя радости преломить хлеб со своими соседями?

– Потому что мы евреи! – сорвался на крик равви. – Потому что мы так живем! А наши законы не позволяют нам забыть о том, кто мы, и дают нам силы! Ты так стремишься порвать со своим прошлым, а чем ты его заменишь? Как ты помешаешь злему началу одолеть доброе?

– Есть ведь законы общие для всех людей, – возразил Майкл. – Они гарантируют равенство для всех. Я не анархист, дядя, если ты этого боишься.

– Но атеист? Таким ты теперь стал?

Уйти от ответа было невозможно.

– Да, наверное, да, – кивнул Майкл и посмотрел в сторону, чтобы не видеть боль в глазах дяди. У него было такое чувство, словно он ударил старика по лицу.

Для примирения им потребовалось немало времени. Даже теперь, по прошествии нескольких лет, они виделись не чаще чем раз в месяц. Во время таких встреч разговор обычно шел о каких-нибудь приятных мелочах, а болезненные вопросы тщательно обходились. Равви поздравлял Майкла с каждым успехом и утешал при всех поражениях, которые случались нередко, – работа у мальчика была трудная. Когда предыдущий распорядитель, соглашавшийся принимать деньги только от еврейских социалистических организаций, уволился, приютному дому грозило скорое закрытие из-за нехватки средств. Майклу предложили занять эту должность, и тогда он своими глазами увидел десятки несчастных, заполнявших спальни второго этажа. Покрой их одежды, особым образом подстриженные бороды, растерянность на лицах – все выдавало в них людей, едва сошедших на берег с борта парохода. Такие в первую очередь становились жертвами обманщиков и жуликов. Майкл попытался разобраться с документами заведения, понял, что в них царит полный хаос, и согласился принять предложение. После чего, забыв о гордости, он отправился в местную синагогу и Еврейский совет с просьбой о деньгах. Они согласились помочь в обмен на разрешение вывешивать объявления о службах на доске в вестибюле, рядом с объявлениями о партийных митингах.

Майкл по-прежнему верил в то, что говорил своему дяде. Сам он в синагогу не ходил, никогда не молился и надеялся, что в один прекрасный день нужда в религии просто отпадет. Но он понимал, что такие перемены происходят медленно, и верил в пользу прагматизма.

Навещая племянника, равви замечал религиозные объявления на доске, но ничего не говорил. Похоже, его тоже печалило возникшее между ними отчуждение. Кроме друг друга, у них практически не было родных в этом мире: отец Майкла давным-давно переселился в Чикаго, оставив в Нью-Йорке кучу обозленных кредиторов, и, проживая в районе, где преобладали большие семьи, Майкл особенно остро чувствовал свое одиночество. Потому он так и обрадовался, увидев на пороге своего кабинета равви:

– Дядя! Как хорошо, что ты зашел!

Мужчины неловко обнялись. Сам Майкл уже привык ходить с непокрытой головой и без выпущенных поверх брюк кистей-цицит, но рядом с дядей чувствовал себя голым. Вдруг он заметил застывшую в дверном проеме женскую фигуру.

– Хочу познакомить тебя с моим новым другом, – сказал равви. – Майкл, это Хава. Она недавно прибыла в Нью-Йорк.

– Рада познакомиться с вами, – произнесла женщина.

Она была высокой, даже выше Майкла. В первый момент ему почудилось, что в дверях маячит темная и грозная статуя, но незнакомка шагнула в комнату и оказалась обычной женщиной в простой скромной блузке. В руках она держала картонную коробку. Поняв, что чересчур пристально разглядывает ее, Майкл поспешно заговорил:

– И я тоже, разумеется. Сколько вы уже в Нью-Йорке?

– Всего месяц.

Она смущенно улыбнулась, словно извинялась за свой недавний приезд.

– Муж Хавы умер по дороге в Америку, – объяснил равви. – Здесь у нее никого нет. А я – что-то вроде ее социального помощника.

Лицо Майкла вытянулось.

– Бог мой, какое горе! Я вам глубоко сочувствую.

– Спасибо, – еле слышно откликнулась она.

Они замолчали, словно переживая ее недавнее несчастье. Тут женщина вспомнила о своей коробке.

– Я вот это испекла, – сказала она немного отрывисто. – Я пекла для вашего дяди, но всего оказалось слишком много. Он предложил принести это сюда и угостить людей, которые здесь живут. – Она протянула коробку Майклу.

Он открыл ее, и комнату немедленно заполнил божественный аромат масла и специй. Коробка было доверху наполнена выпечкой: слоеными рожками, миндальными и имбирными печеньями, коржиками и сладкими булочками.

– И вы сами все это сделали? – поразился Майкл. – Вы пекарь?

Женщина ненадолго задумалась, а потом улыбнулась:

– Да. Наверное, да.

– Моих подопечных все это очень порадует. Прослежу, чтобы каждому досталось по кусочку. – Он поспешно закрыл коробку, чтобы избежать соблазна: при виде миндального печенья у него немедленно потекли слюнки; он обожал его с детства. – Спасибо вам, Хава. Это отличный подарок. Отнесу все это на кухню.

– Попробуйте миндальное печенье, – предложила женщина.

– Обязательно. Очень их люблю.

– Я... – Она замолчала, будто спохватившись. – Я рада.

– Хава, – вмешался равви, – может, подождешь меня в прихожей?

Женщина кивнула.

– Рада была познакомиться с вами, – сказала она Майклу.

– Я тоже, – отозвался он. – И правда, огромное вам спасибо. От всех здешних постояльцев.

Она улыбнулась и вышла из кабинета. Для такой крупной женщины двигалась она на удивление бесшумно.

– Бог мой, какая трагедия, – вздохнул Майкл, когда они с дядей остались вдвоем. – Удивительно, что она осталась в Нью-Йорке, а не вернулась домой.

– Там ее никто особенно не ждет. По сути, у нее не было выбора.

– Но она ведь не у тебя живет? – нахмурился Майкл.

– Нет-нет, конечно нет, – поспешно ответил дядя. – Она пока живет у моей бывшей прихожанки, пожилой вдовы. Но надо найти ей постоянное жилье, да и работу тоже.

– Думаю, это будет нетрудно. Мне она показалась вполне сообразительной, хоть и молчаливой.

– Да, она совсем не глупая, но ужасно наивная, и это меня пугает. Ей придется многому научиться, чтобы самостоятельно жить в большом городе.

– Хорошо, что о ней можешь позаботиться ты.

– Да. Пока могу, – невесело улыбнулся дядя.

В голове у Майкла мелькнула мысль, и он немного обдумал ее, прежде чем высказать вслух.

– Ты говоришь, что ищешь для нее работу?

– Да. Но только не в «потогонке».

– А ты помнишь Мо Радзина?

– Ну да, мы здороваемся, когда встречаемся на улице. А ты думаешь, у Радзинов найдется для нее работа?

– Я заходил к ним вчера. У них там полный хаос, а сам Мо в истерике. Одна его помощница сбежала бог знает куда, а вторая увольняется, чтобы ухаживать за больной сестрой. – Он улыбнулся, кивнув на коробку. – Если они такие же вкусные, как и красивые, работа в пекарне для нее найдется. Зайди поговори с ним.

– Хорошо, – задумчиво кивнул равви. – Это, конечно, шанс. Хотя Мо Радзин...

– Я знаю. Он все такой же мрачный зануда. Но человек он честный и, если захочет, щедрый. Мы покупаем весь хлеб у него с большой скидкой. И работники его, похоже, уважают. Все, кроме Теи.

Равви фыркнул. Тея Радзин была известным нытиком, из тех, что начинают каждый разговор с перечня своих болезней. Кроме того, среди работавших в пекарне у ее мужа женщин

она слыла «свахой наоборот», потому что охотно перечисляла все их недостатки любому проявившему интерес мужчине.

– Мо Радзин не самый плохой хозяин, – проявил настойчивость Майкл, который чувствовал, что, если он поможет дяде, часть вины с него будет снята. – И возможно, он станет относиться к Хаве получше, если будет знать, что ее опекаешь ты.

– Возможно. Я поговорю с ним. Спасибо, Майкл.

Он с признательностью сжал плечо племянника, и Майкл вдруг заметил, что дядя выглядит даже более усталым и измученным, чем раньше, когда ему приходилось решать все проблемы своего прихода. Он всегда слишком много работал, а сейчас, вместо того чтобы отдохнуть, взвалил себе на плечи заботу о молодой вдове. Майкл уже собрался предложить перепоручить ее какой-нибудь женской благотворительной группе, но вовремя вспомнил, что они еще больше стеснены в средствах, чем мужские.

Он распрощался с равви и опять сел за стол. Несмотря на беспокойство за дядино здоровье, он все-таки чувствовал себя заинтригованным. Хава казалась тихой и застенчивой, но ее устремленный на него взгляд странно тревожил. Она не мигая смотрела прямо в глаза, честно и искренне. Майкл понимал, что имел в виду дядя, говоря, что она нуждается в защите, но в то же время чувствовал, что это *он* был совершенно открыт этому взгляду.

Вестибюль в уютном доме был большим и плохо освещенным. Женщина стояла в углу рядом с глубоким обшарпанным креслом. Дело близилось к полудню, и большинство постояльцев разбрелись в поисках работы или места для молитвы. Но человек шестьдесят еще оставались в здании, и тяжесть их тревог просачивалась со второго этажа вниз и давила на Голема. То же самое происходило и в первую ночь на «Балтике», когда желания и страхи множества собранных вместе людей многократно усиливались непривычной обстановкой. Здесь ее ожидали те же безумные надежды и опасения. У Майкла в кабинете они не звучали в ее голове так громко; там она была сосредоточена на разговоре с незнакомым человеком и на стремлении не выдать себя.

Скоро женщина начала нервничать. Как долго еще придется ждать равви? Невольно она посмотрела на потолок. Там, наверху, смешались одиночество и голод, страх неудачи и отчаянные мечты об успехе, о доме и о тарелке с большим ростбифом; один человек, ожидающий своей очереди в уборную, мечтал только о газете, чтобы почитать, пока он ждет...

Она опустила взгляд на низкий столик рядом с креслом. Там лежал свежий номер «Форвертс».

«Нет», – сказала она себе, и собственный голос прозвучал неожиданно громко. Выйдя из вестибюля, она начала расхаживать по длинному темному коридору, обхватив себя руками за локти. Надо постучать в дверь кабинета, сказать равви, что ей плохо, что она хочет выйти на улицу...

К ее радости, дверь отворилась сама и из нее вышли дядя с племянником, договаривавшие что-то на ходу. Заметив напряженное лицо Голема, равви поспешил распрощаться с Майклом. Наконец-то они двинулись по темному вестибюлю в сторону ярко освещенного солнцем прямоугольника дверей.

– С тобой все в порядке? – встревоженно спросил равви, когда они оказались на улице.

– Эти люди там... – начала она и поняла, что не в силах продолжать: мысли мелькали в голове слишком быстро и были какими-то рваными. Усилием воли она постаралась взять себя в руки и успокоиться. – Они так много хотят, – удалось наконец выговорить ей.

– И ты не могла этого терпеть?

– Не могла. Почти. Не могла больше там оставаться.

Беззвучный крик, заполнявший уютный дом, постепенно затихал, растворяясь в обычном городском шуме. Мысли в голове тоже прекращали метаться. Она несколько раз встряхнула руками, чувствуя, как отпускает напряжение.

– Там наверху был один человек. Он очень хотел почитать газету. Я увидела ее на столике и чуть не отнесла ему.

– Вот бы он удивился. – Равви старался говорить весело. – Но ты же смогла сдержаться.

– Да. Но было трудно.

– По-моему, ты делаешь успехи. Хотя чуть не выдала себя с миндальным печеньем.

– Знаю. – Она нахмурилась, вспомнив об этом, а равви улыбнулся.

– Хава, – сказал он, – знаешь, есть какая-то злая ирония в том, что труднее всего тебе приходится, как раз когда окружающие стараются вести себя как можно лучше. Подозреваю, тебе было бы гораздо легче, если бы, забыв о вежливости, каждый хватал то, что хочет.

Она задумалась над его словами.

– Да, сначала было бы легче. Но потом, чтобы исполнить свои желания, начнешь вредить другим, и тогда люди будут бояться друг друга, а желания ведь так никуда и не денутся.

Равви одобрительно вздернул бровь:

– Ты становишься настоящим знатоком человеческой природы. Как ты считаешь, можешь ты уже постоянно выходить из дому одна? Например, ходить на работу?

Радостное волнение охватило Голема.

– Я не знаю. И не знаю, *как* можно это узнать, если не попробовать.

– Майкл сказал мне, что в пекарне Радзинов ищут новых работников. Я давно знаком с Мо Радзином и, наверное, смогу устроить тебя туда. По крайней мере, договориться, чтобы он взял тебя на испытательный срок.

– В пекарне?

– Да. Работа будет тяжелой: много часов подряд вокруг чужие люди. Тебе придется быть в постоянном напряжении.

Она попыталась представить, как это будет: весь день работать руками, в фартуке и накрахмаленном колпаке. Складывать на деревянные подносы аккуратные ряды буханок с золотистой корочкой и еще запудренным мукой доньшком и знать, что их выпекла она сама.

– Я бы хотела попробовать, – сказала она.

7

В субботу, теплым сентябрьским утром, Джинн стоял в задних рядах зрителей в битком набитом арендованном зале и наблюдал, как священник маронитской католической церкви совершает обряд венчания мужчины и женщины. Несмотря на царящее вокруг веселье, настроение у него было не из лучших.

– Почему я должен идти, если я с ними даже не знаком? – спрашивал он Арбели еще утром.

– Потому что теперь ты член общины и должен присутствовать при таких событиях.

– Ты же сам говорил, что мне надо соблюдать дистанцию, пока я учусь.

– Дистанция – это одно, а невежливость – другое.

– А в чем здесь невежливость, если я их не знаю? И не понимаю, в чем смысл этой свадьбы? С какой стати два свободных человека соглашаются быть привязанными друг к другу до конца жизни?

После этого разговор стал неприятным. Взволнованный и возмущенный Арбели пытался защитить институт брака, припоминая все известные ему доводы: рождение детей и законность, облагораживающие влияние семейной жизни, женское целомудрие и мужскую верность. Джинн презрительно фыркал, услышав каждый аргумент, и говорил, что джиннов такие вещи не волнуют и непонятно, почему они должны беспокоить людей. Арбели на это возражал, что так повелось от глубины веков и не Джинну это менять и что он должен пойти на свадьбу, а свое мнение держать при себе. А Джинн отвечал, что из всех знакомых ему существ – не важно, созданы они из крови и плоти или из пламени, – люди, несомненно, самые нелепые.

В самой дальней от него части зала жених и невеста опустили на колени, и священник помахал над ними кадиллом. Невесте едва исполнилось восемнадцать, ее звали Лейла, но все называли Лулу, хотя это имя ей совсем не подходило: оно подразумевало бойкость, и следа которой не было в этой маленькой, застенчиво улыбающейся девочке. Жених, Сэм Хуссейни, был кругленьким и дружелюбным, и все в Маленькой Сирии хорошо знали его. Он был из числа первых сирийских торговцев, обосновавшихся на Вашингтон-стрит, а его магазин импортных товаров считался местной достопримечательностью, и покупатели приезжали к нему даже из других районов. Со временем он разбогател, но всегда охотно помогал соседям, поэтому злых завистников у него было немного. Сейчас он сиял от счастья и то и дело бросал взгляды на свою невесту, словно не веря собственной удаче.

Церемония закончилась, и все гости пешком отправились в кофейню Фаддулов на праздничный обед. Столики были заставлены тарелками с кебабами и рисом, пирожками с мясом и шпинатом и мешочками с миндалем в сахаре, перевязанными ленточкой. Женщины, собравшиеся в одной стороне кофейни, ели и болтали. В другой стороне мужчины разливали по рюмкам араку и обменивались новостями. Сэм и Лулу, сидя за отдельным маленьким столиком в центре кофейни, принимали поздравления, счастливые и немного растерянные. На специальном столе для подарков громоздилась гора коробок и конвертов.

Джинна в толпе не было. Он, скрестив ноги, сидел на деревянном ящике в тенистом переулке за кофейней. В зале скоро стало невыносимо душно из-за смешавшихся запахов духов, благовоний и пота, а кроме того, он все еще злился, оттого что был свидетелем бессмысленной, с его точки зрения, церемонии, и не испытывал ни малейшего желания толкаться в духоте с десятками совершенно незнакомых людей. День выдался прекрасный, небо, видное между крышами домов, завораживало голубизной, а легкий ветерок относил прочь зловоние, издаваемое кучами мусора.

Джинн вытащил из кармана пригоршню золотых цепочек, купленных в подозрительной лавке на Бауэри. Арбели водил его туда, сказав, что это единственное место, где золото продают

дешево. Самому ему там явно не нравилось, и он хмурился, слыша невероятно низкие цены, а когда они вышли на улицу, заметил, что золото, несомненно, краденое. Качество работы оставляло желать лучшего. Цепочки были корявыми, а звенья разными по размеру, но к самому золоту претензий не было. Джинн высыпал их в ладонь, прикрыл сверху другой рукой, чтобы размягчить, а потом начал не спеша придавать металлу форму. У него получился миниатюрный золотой голубок. Тонкой заостренной проволокой он прорисовал несколько деталей – намек на перья, точки глаз, – а потом поместил птичку в плетеную золотую клетку. Приятно было поработать руками, а не теми грубыми инструментами, которыми Арбели заставлял его пользоваться, потому что кто-нибудь мог увидеть.

Задняя дверь кофейни открылась. Из нее вышел Арбели, с тарелкой и вилкой в руке.

– Вот ты где, – сказал он.

– Да, я здесь, – раздраженно ответил Джинн. – Наслаждаюсь одиночеством.

В глазах Арбели мелькнула обида.

– Я принес тебе кинафу. Боялся, что всё съедят, а ты так и не попробуешь.

Джинн кольнуло чувство вины. Он понимал, что жестянщик изо всех сил старается помочь ему, но от этого чувствовал себя еще хуже и частенько огрызался. Засунув клетку с голубком в карман, он взял протянутую тарелку, на которой лежал квадратный кусочек чего-то густого, состоящего из коричневых и кремовых слоев.

– А что это?

– Это рай на земле, – усмехнулся Арбели.

Джинн осторожно откусил. Он еще не совсем привык к еде. Жевать и глотать он научился быстро, а пища, оказавшись внутри, тут же сгорала без остатка, но раньше он ничего не пробовал на вкус, и масса неизвестных прежде ощущений застала его врасплох. Новый, соленый или сладкий, кислый или горький, вкус завораживал, а то и потрясал его, поэтому он старался откусывать только маленькие кусочки и жевать медленно. Все равно кинафа стала настоящим шоком. Удивительная сладость обволокла рот, а тонкие ниточки теста хрустели на зубах, и этот звук эхом отдавался в ушах.

– Нравится? – спросил Арбели.

– Не знаю. Это удивительно. – Он положил в рот еще кусочек. – Наверное, нравится.

Арбели оглядел переулочек:

– А что ты здесь делаешь?

– Захотелось побыть в тишине.

– Ахмад, – начал Арбели, и Джинн поежился, услышав это имя, его и все-таки чужое, – я тебя понимаю, честное слово. Я чувствую себя примерно так же и тоже не люблю больших сборищ. Но мы же не хотим, чтобы тебя считали отшельником. Пожалуйста, зайди внутрь и хотя бы поздоровайся. Улыбнись пару раз. Хотя бы ради меня.

Неохотно Джинн встал и пошел вслед за Арбели в кофейню. Там столы уже сдвинули к стенам, и группа мужчин танцевала, образовав круг и положив руки друг другу на плечи. Женщины толпились по сторонам, подбадривали их и хлопали в ладоши. Джинн поспешно отошел и, спрятавшись в углу, принялся наблюдать за невестой. Из всех присутствовавших на этой свадьбе только она и привлекла его внимание. Лулу была молодой, хорошенькой и, очевидно, очень волновалась. Она почти не притрагивалась к стоящей перед ней еде, но много улыбалась и разговаривала с теми, кто подходил пожелать ей счастья. Сидевший рядом Сэм Хуссейни ел так, словно неделю голодал, и то и дело вскакивал, чтобы обняться или обменяться рукопожатиями с гостями. Девушка с интересом слушала все, что говорил ее жених, посматривала на него с очевидной симпатией, но иногда оглядывалась вокруг, будто ища сочувствия и поддержки. Джинн вспомнил рассказ Арбели о том, что она всего несколько недель назад приехала в Америку, а предложение Сэм сделал, когда ездил домой навестить родных. И в итоге, размышлял Джинн, девушка оказалась в незнакомом месте, неуверенная в себе, в окружении

чужих людей. Как и он сам. Жаль, что, по словам Арбели, она теперь может принадлежать только одному мужчине.

Невеста еще раз оглядела зал. В просвете между танцующими она заметила пристально глядящего на нее Джинна. На несколько мгновений их глаза встретились, ее щеки порозовели, а потом она отвернулась, чтобы приветствовать очередного гостя.

– Ахмад, хотите кофе?

Он вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла Мариам. Она держала поднос с маленькими чашечками, наполненными темно-коричневым напитком с запахом кардамона. На губах у нее играла привычная дружелюбная улыбка, но в глазах мелькнуло немое предостережение. Она явно заметила его интерес.

– Выпейте за их счастье, – предложила она.

Он взял с подноса чашечку:

– Спасибо.

– На здоровье, – кивнула она и отошла.

Он разглядывал крошечную чашечку. Жидкость в таком количестве не может ему повредить, а запах интересный. Он выпил содержимое одним глотком, как делали другие, и чуть не задохнулся. Вкус был горьким и резким, как удар.

Вздвигнув, он поставил чашечку на стол. Пожалуй, на сегодня с него хватит шумного человеческого веселья. Глазами он отыскал в толпе Арбели и показал тому на дверь. Жестящик жестами указал Джинну на столик новобрачных, словно просил его подойти.

Но Джинн не желал поздравлять их. Он был не в том настроении, чтобы говорить слова, которые сам не верил. Арбели все еще махал руками, но Джинн, решительно раздвигая толпу, уже шел к выходу.

По Вашингтон-стрит он направился на север, размышляя на ходу, удастся ли ему еще когда-нибудь побыть по-настоящему одному. Иногда родная пустыня казалась ему чересчур безлюдной, но переносить эту вечную толчею было еще труднее. На улице оказалось так же тесно, как в зале кофейни. Тротуары заполняли отправившиеся на воскресную прогулку семейства, а на проезжей части было не протолкнуться от лошадей и повозок; в каждой повозке сидел человек и орал на других людей, громко требуя освободить ему дорогу, – и все это на тысяче разных языков, которые Джинн никогда раньше не слышал, но тем не менее понимал, о чем иногда начинал жалеть.

Он не просто гулял – у него была цель. На днях Арбели показывал ему карту Манхэттена и, указав на зеленое пятно посреди острова, между прочим заметил: «Это Центральный парк. Он огромный, и там только вода, деревья и трава. Загляни как-нибудь». Потом он заговорил о других вещах: о том, как найти станции надземки и каких районов стоит избегать по вечерам. Но большое зеленое пятно запало в память Джинна. Кажется, сейчас ему надо найти платформу на Шестой авеню, и поезд надземной железной дороги доставит его прямо к Парку.

На Четырнадцатой он повернул на восток и заметил, что толпа пешеходов стала другой. В ней было меньше детей и больше мужчин в костюмах и шляпах. На проезжей части появилось больше элегантных экипажей и колясок. Дома тоже изменились: они стали выше и шире. Высоко над Шестой авеню он увидел узкую металлическую ленту. Когда по ней пробегали сцепленные между собой вагончики, вниз на улицу сыпались искры. В стремительно проносящихся стеклянных окошках мелькали спокойные мужские и женские лица.

По лестнице он поднялся на платформу и отдал кассиру несколько монет. Скоро, визжа тормозами, у платформы остановился поезд. Джинн вошел в вагон и занял свободное сиденье. В вагон заходило все больше и больше народу, скоро сидячих мест не осталось, и люди уже толпились в проходах. Джинна передернуло при одном взгляде на эту спрессованную массу.

Двери закрылись, и поезд тронулся с места. Джинн надеялся, что испытает что-то подобное полету, но скоро понял свое заблуждение. Железный вагон трясся так, будто поставил себе целью вытрясти из него все зубы. Здания мелькали так близко от окон, что Джинн отшатывался. Он уже подумывал о том, чтобы выйти на следующей станции и дальше пойти пешком, но, видя спокойствие остальных пассажиров, устыдился. Стиснув зубы, он мрачно смотрел в окно на проносящиеся мимо улицы.

Пятьдесят девятая стрит была конечной остановкой. Пока он спускался по лестнице, его немного тошнило. День уже клонился к вечеру, а небо, затянувшееся облаками, напоминало серо-белую простыню.

Прямо напротив станции поднималась высокая стена зелени. Она была огорожена железной решеткой, словно какое-то дикое животное. В решетке имелся широкий проем, в который впадала и скоро исчезала из виду Шестая авеню. Туда же вливался непрерывный поток пешеходов и экипажей. Джинн перешел улицу и вступил в Парк.

Почти сразу же шум улицы стих – его сменил непрерывный шорох. По обе стороны аллеи росли деревья, и воздух под ними был прохладным и влажным. У него под ногами похрустывал гравий. Мимо неторопливо проезжали коляски, и копыта лошадей отбивали по земле приятный ритм. От большой аллеи разбегались в разные стороны дорожки поменьше, иногда широкие и мощные, иногда едва заметные в траве тропинки.

Внезапно деревья кончились – их сменило широкое открытое пространство газона. Джинн остановился, завороженный этим зеленым морем. Деревья, растущие на его дальнем крае, скрывали город. Посреди газона мирно паслось небольшое стадо толстых белых овец, лениво жующих траву. Вдоль дороги стояли скамейки, на которых сидели люди – по двое, по трое, иногда попадался одинокий джентльмен, а вот одиноких женщин, как заметил Джинн, совсем не было.

Он сошел с дороги и немного прошел по траве, чувствуя, как она пружинит под ногами. Это было приятно, и он уже решил, что теперь будет ходить только так, и хорошо бы босиком, но тут заметил торчащую из земли табличку: «Просьба по газону не ходить». Несколько прохожих смотрели на него с явным осуждением. Про себя он решил, что правило дурацкое, но ему не хотелось привлекать к себе внимание. Он вернулся на дорожку, но пообещал себе, что обязательно придет сюда как-нибудь ночью и сделает так, как ему хочется.

Дорога повернула на восток, и Джинн тоже повернул на красивый деревянный мост. За небольшой рощицей он заметил широкую и блестящую серо-белую ленту и свернул туда. Лента оказалась широкой аллеей, выложенной каменной плиткой и обрамленной смыкающимися в арку деревьями. Здесь гуляло больше народу, чем на дороге для экипажей, но аллея была такой просторной, что не казалась слишком многолюдной. Вокруг бегали дети. Один мальчик запустил обруч, он прокатился мимо Джинна, обогнав его, и упал. Удивленный, он подобрал обруч с каменной плитки, вернул его подбежавшему мальчику и пошел дальше, размышляя о том, что это за предмет и каково его назначение.

В конце широкая аллея превратилась в тоннель, проходящий под дорогой для экипажей. С другой его стороны открывалась большая, вымощенная красным кирпичом площадь, ограниченная с дальней стороны прудом. Посреди площади возвышалась фигура крылатой женщины, словно плывущей над пенящимся каскадом воды. Только подойдя ближе, он понял, что это не живая женщина, а поставленная на пьедестал скульптура. Вода стекала к ее ногам в низкую и широкую чашу, а оттуда – в пруд.

Джинн, словно зачарованный, смотрел на фонтан. Еще никогда он не видел, чтобы вода лилась такими прихотливыми, переменчивыми струями. Зрелище не было столь пугающим, как вид огромного залива, но все-таки ему стало не по себе. Долетающая до лица мелкая водяная пыль будто крошечными иголочками колола кожу.

Бронзовая женщина спокойно и безучастно взирала на него. В одной руке она держала длинные стебли цветов, другую вытянула вперед, словно указывая на что-то неведомое ему. За ее спиной широко раскинулись красиво изогнутые крылья. Обычная человеческая женщина, наделенная нечеловеческим даром полета. Если Арбели говорил правду, они все должны ее бояться, однако Джинн чувствовал, что скульптором двигал не страх, а благоговение.

Слева от себя Джинн уловил какое-то движение: стоящая рядом молодая женщина внимательно изучала его. Он поглядел на нее, и она быстро отвернулась, притворяясь, что рассматривает фонтан. На ней было темно-синее платье, плотно облегающее талию, и большая шляпа с закрученными полями, украшенная павлиньим пером. Каштановые локоны рассыпались по шее. Джинн уже достаточно разобрался в человеческих костюмах и понимал, что девушка одета очень дорого. Как ни странно, она была одна.

Она еще раз взглянула на него, словно не в силах справиться с собой, и их глаза встретились. Девушка опять поспешно отвернулась, но тут же улыбнулась и посмотрела ему прямо в лицо.

– Простите, – сказала она. – Вы так залюбовались на этот фонтан. Но конечно, неприлично с моей стороны разглядывать вас.

– Ничего неприличного, – возразил он. – Я и правда залюбовался. Никогда не видел ничего похожего. Пожалуйста, объясните мне, кто эта женщина с крыльями.

– Ее называют Ангел Вод. Она благословляет воду, и все, кто ее пьет, излечиваются.

– Излечиваются от чего?

Она пожала плечами и показалась ему еще моложе, чем вначале.

– Наверное, от того, чем больны.

– А что такое ангел? – продолжал расспрашивать Джинн.

Вопрос ее явно удивил. Она еще раз оглядела его, словно оценивая заново. Скорее всего, она уже успела заметить и дешевую одежду, и акцент, но в его вопросе, похоже, заключалась какая-то странность, не очевидная с первого взгляда.

– Ну, ангел – это Божий посланник, сэр. Небесное существо, которое выше человека, но все-таки слуга Всевышнего.

– Понятно.

Вообще-то, ему было совсем не понятно, но Джинн почувствовал, что расспрашивать не стоит. Надо будет позже обсудить все это с Арбели.

– И вот так ангелы выглядят?

– Наверное, так. Во всяком случае, так их иногда изображают. Все зависит от того, во что вы верите.

Они по-прежнему стояли рядом и смотрели на фонтан.

– Я никогда не встречал никого, похожего на нее, – сказал Джинн, почувствовав, что, если он не заговорит, девушка может уйти.

– Наверное, вы приехали *очень* издалека, если в вашей стране нет ангелов.

– Нет, ангелы у нас есть, – улыбнулся он. – Я просто не знал этого слова.

– Но ваши ангелы на нее не похожи? – кивнула девушка на бронзовую женщину.

– Нет, не похожи. В моей стране ангелы сотканы из вечного пламени. Они могут принимать любой облик, какой захотят, и в нем показываться человеку, как смерч показывается в виде поднятой им пыли. – Девушка слушала, не сводя с него глаз, а он продолжал: – В моей стране ангелы никому не служат: ни тем, кто выше их, ни тем, кто ниже. Они странствуют где хотят, послушные только своей прихоти. Если два ангела встречаются, между ними вспыхивает ненависть или страсть, и, когда они сталкиваются с людьми, – тут он улыбнулся, глядя ей прямо в глаза, – результат часто бывает таким же.

Она сердито отвела взгляд, и несколько минут было слышно только журчание воды и обрывки чужих разговоров.

– Похоже, ваша страна очень жестокое место, – сказала она наконец.

– Да, иногда очень жестокое.

– И там у вас считается приличным разговаривать так с незнакомой женщиной?

– Думаю, нет.

– Или, возможно, женщины в вашей стране совсем другие, если вы разговариваете с ними на такие темы.

– Нет, не такие уж другие, – усмехнулся Джинн. – Хотя до встречи с вами я считал, что они превосходят здешних женщин красотой и гордостью. Но сейчас я далеко не так в этом уверен.

Глаза девушки расширились, и она уже открыла рот, чтобы ответить ему, а он приготовился жадно выслушать ее слова, но внезапно она посмотрела налево и отшатнулась от него. К ним приближалась пожилая дама в жестком черном платье и шляпе с вуалью. Не без труда девушка придала своему лицу спокойное выражение.

– Спасибо, что дождалась, дорогая, – запыхавшись, проговорила пожилая женщина. – Там такая ужасная очередь. Ты, наверное, решила, что я тебя бросила.

– Нет, ничего подобного. Я тут любовалась фонтаном.

Женщина неприязненно взглянула на Джинна и шепнула что-то девушке на ухо.

– Конечно же нет, – чуть слышно ответила та. – Ты ведь знаешь, тетя, я бы никогда этого не позволила. Он просто хотел о чем-то спросить меня, но я не поняла вопроса. Он, кажется, совсем не говорит по-английски.

Украдкой она бросила на Джинна умоляющий взгляд – пожалуйста, мол, не выдавайте меня. Усмехнувшись, он едва заметно кивнул.

– Какое нахальство! – сердито прищурилась пожилая дама. Теперь она говорила гораздо громче, уверенная, что ее не поймут. – Извини, София. Нельзя было оставлять тебя одну.

– Перестань, тетушка. Это такая ерунда, – поспешно ответила смущенная девушка.

– Пообещай ничего не рассказывать об этом своим родителям, а то мне достанется.

– Обещаю.

– Хорошо. А теперь поехали домой. Твоя матушка будет вне себя, если ты не будешь готова к началу.

– Я ненавижу эти приемы. Они такие скучные.

– Не говори так, моя дорогая. Сезон ведь только начинается.

Дама решительно взяла племянницу за руку. Значит, ее зовут София. Уходя, София в последний раз взглянула на него и явно хотела что-то сказать, но не осмелилась. Вместо этого она позволила тете увести себя по красной кирпичной площади прочь от фонтана. По лестнице они поднялись на дорогу и скоро пропали из виду.

Тогда и Джинн бросился им вслед через террасу, пугая тех, кто попался ему на пути. Он перепрыгивал по две или три ступеньки зараз и только наверху остановился. Не приближаясь, он наблюдал за тем, как две женщины садятся в открытый сверкающий экипаж, который ждал их на дороге. Мужчина в ливрее распахнул перед ними дверцы:

– Миледи. Мисс Уинстон.

– Спасибо, Лукас, – отозвалась девушка и села в коляску.

Мужчина в ливрее забрался на высокое сиденье, взял в руки поводья, и экипаж мягко покатился по дороге. Джинн смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом.

Он размышлял. Уже темнело и становилось прохладно. Небо было по-прежнему затянуто тучами, грозящими вот-вот пролиться дождем. Самое время возвращаться домой. И Арбели наверняка уже хватился своего постояльца.

Но девушка заинтересовала Джинна. А кроме того, его опять заполняло то темное, неясное желание, которое он впервые ощутил на свадьбе, а отказывать себе в прихотях Джинн не привык. Арбели, решил он, может еще немного подождать.

Он знал только ее имя, но выяснить, где живет София Уинстон оказалось на удивление просто. По той же дороге он дошел до ворот Парка и, оказавшись на улице, задал вопрос первому попавшемуся прохожему.

– Уинстон? Ты хочешь сказать, Фрэнсис Уинстон? Шутишь? – Мужчина в рабочей одежде был большим и дружелюбным. – Ну конечно же, в этом новом особняке на Шестьдесят второй. Целая куча белого кирпича, огромная, как отель. Не ошибешься. – Толстым, словно сосиска, пальцем он указал на север.

– Спасибо, – кивнул Джинн, пускаясь в путь.

– Эй, послушай! – крикнул ему вслед мужчина. – А на что тебе Уинстоны?

– Хочу соблазнить их дочь, – отозвался Джинн и еще долго слышал раскаты хохота, летящие ему вслед.

Особняк Уинстонов он действительно нашел легко. Это было большое трехэтажное здание из белого известняка, с темной крышей и высоким коньком. Оно стояло в глубине участка, и от тротуара его отделял аккуратный широкий газон и металлическая решетка с острыми пиками. В отличие от своих соседей, особняк еще не успел покрыться налетом городской копоти, и вид у него был сверкающий и несколько самодовольный.

Фасад здания украшал большой, ярко освещенный портик. Джинн прошел мимо, двигаясь вдоль решетки, и свернул за угол. В высоких окнах первого этажа тоже сияли огни. Он видел силуэты суетящихся за шторами людей. У заднего угла здания начиналась густая зеленая изгородь, а металлическая решетка превращалась в высокую кирпичную стену, надежно укрывающую от чужих глаз участок за домом.

Джинн внимательно оглядел решетку. Прутья были крепкими, но не слишком толстыми. На глаз он прикинул расстояние между ними. Двух будет вполне достаточно, решил он, обхватил два прута руками и сосредоточился.

* * *

София Уинстон, все еще в халате, сидела у себя в комнате и грустила. Ее волосы были влажными после недавно принятой ванны. Меньше чем через час начнут прибывать гости. Как и предсказывала тетушка, мать Софии пребывала на грани нервного припадка, носилась по дому, будто вырвавшийся из клетки попугай, и раздавала приказания всем слугам, попадавшимся ей по пути. Отец поспешно удалился в библиотеку, где он обычно спасался от приступов активности жены. София с удовольствием последовала бы его примеру или помогла бы укладывать в постель своего младшего братишку Джорджа, но против такого вмешательства возражала гувернантка, считавшая, что оно подрывает ее авторитет. А если бы мать обнаружила девушку в библиотеке за чтением журналов, скандал был бы неизбежен.

Софии исполнилось восемнадцать, и она была очень одинока. Ей, дочери одной из самых богатых и видных семей Нью-Йорка – а фактически и всей страны, – очень рано и вполне откровенно дали понять, что ее главная задача – это просто существовать, прилично себя вести и ждать подходящей партии, чтобы продолжить семейную линию. Будущее разворачивалось перед ней, как скучный гобелен с рисунком, давно утвержденным и неизменным. Сначала будет свадьба, потом – дом где-нибудь поблизости от родительского, а в доме – детская для наследников, которые должным образом появятся на свет. Летний сезон она будет проводить за городом, переезжая из поместья в поместье, бесконечно играя в теннис и изнемогая от необходимости постоянно чувствовать себя гостем в чьем-нибудь доме. Потом придет средний возраст, а вместе с ним обязанность служить какой-нибудь великой цели: Трезвости, Помощи беднякам или Образованию – не важно, какой именно, лишь бы она была приличной, благородной, не содержала ничего двусмысленного и предоставляла неограниченные возможности

для организации ленчей, на которых плохо одетые ораторы станут произносить невыносимо серьезные речи. Затем наступит старость с ее немощью и медленным угасанием, и в конце концов она превратится просто в кучу черной тафты на кресле-каталке, которую ненадолго вывозят на приемах, чтобы продемонстрировать гостям, а потом поспешно задвигают в угол. Последние свои дни на земле она проведет, сидя у огня и уныло размышляя о том, куда же ушла жизнь.

София знала, что не станет бороться с судьбой. У нее не хватит ни мужества, для того чтобы вести войну с собственной семьей, ни силы духа, для того чтобы идти в жизни своим путем. Вместо этого она погрузилась в мир фантазий и, начитавшись в отцовской библиотеке книг и журналов об экзотических странах и древних цивилизациях, непрерывно грезилась о приключениях, путешествиях и опасностях. Она мечтала мчаться на бешеном коне вместе с монгольским племенем, плыть по Амазонке в самое сердце джунглей, в льняной рубашке и шароварах бродить по узким улочкам Бомбея. О неизбежных в таких путешествиях лишениях, вроде отсутствия удобной кровати или водопровода, София просто не задумывалась.

Недавно ей на глаза попала статья о Генрихе Шлимане и открытии им древней Трои. Все коллеги Шлимана считали этот город выдумкой Гомера, а самого ученого – неисправимым фантазером. Но Шлиман сумел доказать свою правоту. В статье имелась и фотография прекрасной темноглазой женщины, наряженной в найденные при раскопках золотые украшения древней царицы. Это была жена Шлимана, гречанка, помогавшая ему в работе. Когда София прочитала, что женщину тоже звали Софией, она почувствовала внезапный болезненный укол, как будто только что упустила некий важный шанс, предоставленный судьбой. Ах, если бы это она, София Уинстон, надела эти тяжелые ожерелья, если бы София Уинстон стояла на раскопках плечом к плечу со своим отважным мужем и смотрела вниз, на золотой лик Агамемнона!

Она могла предаваться таким мечтам часами. Так же было и сегодня днем в Парке, когда она погружалась в них, только чтобы не слышать ядовитых сплетен своей тети и не думать о предстоящем бале. И тот мужчина у фонтана как будто шагнул ей навстречу из ее собственных фантазий: высокий, красивый иностранец, прекрасно говорящий по-английски. Сейчас, оказавшись в своей хорошо знакомой комнате, она поежилась, вспоминая их разговор. Никогда еще она не чувствовала себя такой молодой, растерянной и беспомощной.

Смирившись с тем, что ожидало ее этим вечером, она села перед зеркалом и начала расчесывать волосы. Горничная уже разложила на кровати ее новое платье из бордового шелка. София не без удовольствия думала о том, что наденет его этим вечером: недавно вошедший в моду фасон очень шел к ее фигуре.

Краем глаза она заметила какое-то движение за окном и, испуганная, обернулась. На балконе, прямо за высокой стеклянной дверью, стоял человек и смотрел на нее.

Она вздрогнула, едва сдержав крик, и плотно запахнула халат на шее. Человек вскинул руки, словно умолял ее не поднимать шума. Чуть наклонив голову, чтобы не мешало собственное отражение, она пристальнее взгляделась в фигуру на балконе и поняла: это он, тот незнакомец из Парка.

Она не верила своим глазам. Как он попал сюда? Ее комната находилась на третьем этаже, – значит, он забрался по стене, а потом залез на балкон? Минуту она колебалась, а затем взяла со стола лампу и шагнула ближе к окну, чтобы рассмотреть получше. Он стоял совершенно неподвижно и внимательно следил за каждым ее движением. Не дойдя нескольких шагов, она остановилась в раздумье. Еще не поздно было закричать.

Мужчина улыбнулся и протянул к ней руку. Приглашение? К чему? К разговору?

С колотящимся сердцем она накинула шаль и вышла на балкон. Вечерний воздух был прохладным и пах дождем. Она не стала закрывать за собой дверь и поплотнее закуталась в шаль.

– Что вы здесь делаете?

– Я пришел, чтобы извиниться, – ответил он.

– Извиниться?!

– Боюсь, что оскорбил вас своей недавней откровенностью.

– Вы проникаете в чужой дом и пугаете меня ради того, чтобы извиниться?

– Да.

– А если я закричу? Вас могут арестовать.

Он ничего не сказал, словно соглашаясь с ней, и некоторое время они продолжали молча смотреть друг на друга. София сдалась первой:

– Ну хорошо, раз уж вы так рисковали, ради того чтобы извиниться, я, наверное, должна сказать, что извинения приняты. Все, я прощаю вас. Теперь можете идти.

Он коротко кивнул, поклонился ей и одним движением, грациознее которого София ничего в жизни не видела, вскочил на перила балкона. Спокойно стоя на них, он посмотрел на соседний балкон, и София поняла, что сейчас он прыгнет.

– Подождите! – вскрикнула она.

Он замер, чуть покачиваясь, а она задрожала, осознав, что едва не убила его.

– Простите, – пролепетала она. – Только... Я просто хотела... Как вас зовут?

Он как будто задумался, а потом ответил:

– Ахмад.

– Ахмад, – повторила она. – Откуда вы?

– Вы называете это место Сирией.

– Мы называем? А как же *вы* его называете?

– Домом.

Он беззаботно стоял на высоких перилах балкона и, казалось, даже не знал о трехэтажной пропасти у себя за спиной. У Софии снова появилось странное чувство нереальности происходящего, как будто он шагнул в ее жизнь прямо из сказки. Как будто все это происходило не на самом деле.

– Ахмад, пожалуйста, расскажите мне... Но сначала, прошу вас, сойдите с перил, пока вы не упали.

Он спрыгнул на балкон и улыбнулся:

– Так о чем вам рассказать?

– О том месте, откуда вы приехали. Где вы жили?

Она ожидала, что он назовет город, но вместо этого услышала:

– В пустыне.

– В пустыне? Это ведь опасно?

– Да, если не соблюдать осторожность. Пустыня – место дикое, но все-таки пригодное для жизни.

– Я видела картинки у папы в журналах. Но наверное, на них все не так, как на самом деле.

Из комнаты до них донесся шум, и оба вздрогнули. Кто-то стучался в дверь ее спальни. Мужчина пригнулся, словно готовился опять вспрыгнуть на перила.

– Подождите, – шепнула София.

На цыпочках она вернулась в комнату, смяла простыни на кровати и громко попросила:

– Минутку.

Низко наклонившись, она потрясла головой, чтобы привести волосы в беспорядок и вызвать легкий румянец, а потом, изобразив на лице страдание, открыла дверь.

В коридоре стояла горничная с охапкой выглаженного постельного белья. Увидев Софию все еще в халате и шали, она широко раскрыла глаза:

– Мисс София, ваша мать сказала, что гости начнут прибывать уже через полчаса.

– Мария, боюсь, что я приболела. У меня голова раскалывается. Пожалуйста, передайте моей матери, что я немного полежу, но потом обязательно спущусь к гостям.

– Что ты сказала?

Обе женщины испуганно оглянулись: к ним подходила хорошо известная в светском обществе Нью-Йорка Джулия Хамильтон-Уинстон, в голубом широком платье и пока еще в бигуди.

– Мама, – умоляюще простонала София, – я правда плохо себя чувствую. Извини.

– Вздор. За обедом ты была в полном порядке.

– Все началось внезапно. Голова просто раскалывается.

– Прими аспирин, – отрезала женщина. – Я не один бал промучилась от головной боли, тошноты и прочих болезней. Ты чересчур изнеженная, София. И слишком часто пренебрегаешь своими обязанностями.

– Пожалуйста, – взмолилась девушка. – Прошу тебя, всего полчаса. Если я немного посплю, мне станет легче. А иначе мне будет совсем плохо.

– Гм. – Мать коснулась ладонью лба девушки. – Да, похоже, действительно горячий. – Она убрала руку и вздохнула. На лице ее все еще было написано недоверие. – Хорошо. Только полчаса. Ты меня поняла? А потом я велю Марии силой вытащить тебя из постели.

– Спасибо, мама.

Она закрыла дверь, постояла, прислушиваясь к удаляющимся шагам матери, и вернулась на балкон. Незнакомец стоял в той же позе и смотрел на нее с усмешкой:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.